

В знакомых улицах

новеллы ➤

Михаил Чижов



Михаил ЧИЖОВ

В знакомых улицах

«У Никитских ворот»

2018

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус) 6

Чижов М. П.

В знакомых улицах / М. П. Чижов — «У Никитских ворот», 2018

ISBN 978-5-00095-659-5

Все мы, живущие на Земле в разных царствах-государствах, с приходом времени «Х» вспоминаем о своём детстве-юности, о приобретениях и потерях, о школе, о братьях наших меньших, о доме и домочадцах, учивших нас уму-разуму, о многом другом, что составляет жизнь. Порой факты и грёзы ложатся на бумагу и получается книга. Познавать диалектику Души – важнейшее занятие для пытливого ума, дорогой читатель.

УДК 82-3

ББК 84(2Рос=Рус) 6

ISBN 978-5-00095-659-5

© Чижов М. П., 2018

© У Никитских ворот, 2018

Содержание

«Мелочи» жизни	6
В знакомых улицах	8
Часть первая	8
Старый дом	8
Жили-были дед и баба	12
Сон	29
Зёрна памяти	29
Геройский брат	37
Поход	38
Мама	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Михаил Павлович Чижов
В знакомых улицах
Повести

© Чижов М. П., 2018

© Оформление ИПО «У Никитских ворот», 2018

«Мелочи» жизни

Проза Михаила Чижова в хорошем смысле традиционна. Она возвращает нас к литературным традициям, вызывая в памяти ассоциации с аксаковскими, бунинскими, шмелёвскими текстами – семейными хрониками, автобиографическими романами, с кругом тем этих признанных мастеров слова, их стилистикой и поэтикой.

Читая две повести, вошедшие в книгу «В знакомых улицах», задаёшься вопросом: а какому читателю интересна и нужна подобная литература в наше суматошное время? Время айфонов, соцсетей, скоростных байков? Время, когда новости устаревают, едва мелькнув в ленте «Фейсбука»? Когда в сознание настойчиво внедряются истины типа «Лови момент», «Кто смел, тот и съел», «Деньги не пахнут»? И постепенно понимаешь, что любому. Любого возраста, местожительства, национальности, политических взглядов. Потому что речь в «Знакомых улицах» и «Серке» – неспешная, русская, «раздумчивая» – ведётся о том, что близко каждому. О семейных преданиях. О постепенном – где-то сокровенном, где-то очевидном – взрослении-становлении ребёнка. О его приобщении к миру семьи, соседей, земляков, сограждан, к миру книг и знаний. Об утратах – и обретениях. О хрупких и в то же время на редкость жизнеспособных (живоносных!) связях человека и природы. О ценности любой жизни: безвестного воробышки – и соседской девочки, погибшей по нелепой случайности. Великого вождя – и соседа-сапожника с экзотической для русского уха фамилией Дворжак. О человеческом достоинстве – последнем неразменном капитале, который хранится-бережётся в самый голодный год, в любое лихолетье. Потому что как бы ни размывали нравственные координаты, как бы ни меняли нынешние демагоги (читай: краснобаи) местами добро и зло, есть вечные истины.

Какими источниками-родниками питается душа человеческая? Материнским молоком, словами древней молитвы, светом, идущим от фотографий в семейном альбоме, яркими впечатлениями от семейных будней-праздников... Воспитание. Важнейшее для каждого из нас понятие. Проза Михаила Чижова из разряда «питательных» – дающих пищу для души и разума. А подчас это и в самом деле «вкусная» проза – насыщенная запахами, звуками, осязательными ощущениями. И, конечно, яркими «картинами»! Чего только стоит «портрет» уникального кресла со спинкой-дугой и подлокотниками-подковами! А подробные и обстоятельные описания детских игр («садовник», «чапай», «войнушка» и т. д.), непонятно-причудливого для сегодняшнего школьника предмета – чернильницы-непроливайки? Каждая деталь благодаря писательскому дару автора, его основательной работе со словом прочно врезается в память. И не случайно неоднократно возникает на страницах книги образ каши. «Всех крестьян, словно гречневую крупу, засыпали по незнанию и неумению в маленькую кастрюльку с водой и поставили на сильный огонь», – это о коллективизации и весьма неоднозначных её последствиях. Ёмко, поэтично, буквально в двух предложениях писатель даёт оценку сложному социальному процессу. А вот как увиден глазами ребёнка и живописно воплощён в обычных, казалось бы, словах закатный пейзаж: «Облака, столпившиеся к западу, начинают пламенеть, разгораясь, словно угли в печи... Красные перья облаков напоминают сказочную жар-птицу, раскинувшую свой хвост». На страницах книги такие «вкусные» образы, яркие и запоминающиеся, рассыпаны щедрой рукой. Наша картина мира обогащается за счёт точных, колоритных, увиденных настоящим художником штрихов: повозка с бардой-верлиокой – отработанным ячменём с пивного завода, разнообразные и выразительные запахи в магазинах «Охота» и «Табак», оттенки вкуса смолы вишнёвой и смолы сосновой. Скажете: мелочи. Но из них и складывается целое...

«Им не страшно умирать: о них вечно помнят поля и пажити». Это сказано автором о русских крестьянах, от века видящих смысл своей жизни в труде на благо семьи, общины,

отечества. Помните выразительное слово «помочь»? Примеры такой «помочи» встречаются на страницах книги не единожды. «Жизнь – путь к собственной душе». Простая истина, но так важно снова и снова к ней возвращаться. И возвращают нас к этому празднично-яркие соцветия мальвы, отточенные и изящные движения кошки-охотницы, точные и весомые слова на листке бумаги...

Три звена: труд – семья – родина. Всё просто. И ты тоже звено – звёнышко в цепочке поколений. И это прекрасно, потому что наполняет жизнь смыслом, а сердце – радостью. Радости тебе, читатель, от знакомства с талантливой и доброй книгой, которую ты держишь в руках.

Эльвира КУКЛИНА, член Союза российских писателей

В знакомых улицах *повесть о жизни*

*Довольно мне, что был мой взгляд
Необщим милостью Твоею.*

Р. Киплинг

Часть первая **Гребешок**

Старый дом

Улицы, улицы. Улицы большого областного центра, на окраинах которого в послевоенные годы моего детства можно было легко окунуться в сельскую идиллию. Вокруг деревянные частные дома и домишки, а во дворах непрерывно жующие коровы, свиньи, пытающиеся своим чутким «пяточком» унюхать что-то вкусненькое, куры в сопровождении важных и горластых петухов. В центре – звенящие трамваи с открытыми настежь дверями; неуклюжие и потому неторопливые троллейбусы; пышущие жаром, душные автобусы бегут по узким улицам мимо мещанских, купеческих двухэтажных особняков и дворянских городских усадеб, окруженных вишнёвыми садами, мимо пятиэтажных «небоскрёбов» советской эпохи. Неспешная, вдумчивая и спокойная жизнь, хотя и ускорившаяся в годы индустриализации и войны.

Десятки, сотни улиц, исхоженные мною за долгие годы, вымостились, словно древние агоры, ассоциативной брусчаткой воспоминаний. По ней я трясся на двухколёсном велосипеде без тормозов и с литыми шинами колёс, а там школьником бежал по гладкому асфальту свой этап на призы городской газеты. И мне сейчас трудно представить себя молодым максималистом, полным сил и брызжущей через край энергии. Будто всё это было не со мной, или было, по крайней мере, с кем-то другим, хорошо мне знакомым человеком, в существование которого верится сейчас с огромным трудом.

Теперь мне некуда спешить. Я брожу по улицам и печалюсь о городе детства, в мыслях к которому так часто возвращаюсь. В дымке прожитого мне трудно узнать родные места: многих улиц уж нет, от иных остались лишь названия. Все сохранившиеся плотно забиты автомашинами, как бочка сельдями. Они везде, куда ни кинь взгляд: на тротуарах, у бордюров дорог, в тесных дворах. Кажется, что город служит не людям, а частным авто. Город «уплотнён» многоэтажной современной застройкой, рядом с «верзилами» низкие домишки из позапрошлого века, и потому он представляется мне куском каравая с неровными, обкусанными краями. Из города улетела душа, которую я чувствовал в детстве и юности. Город, даривший мне смысл существования, изменил мне, и я стал в нём лишним.

В особо памятные и дорогие места я не рискую заходить – боюсь нарваться на нечто непристойное, на то, что оскорбит мою память. Я прохожу по знакомым улицам и вспоминаю родных и близких мне людей, которые здесь жили. Сотни улиц – сотни людей, многие из них уже не порадуют меня своим появлением и разговором. Они ушли с этих улиц навсегда, а те, что остались, сильно изменились, они кажутся душевно усталыми: в их лицах мало интереса к жизни, мало радости. Они или печально-угрюмы, или лихорадочно суетливы.

И задаёшься извечным вопросом: «Зачем всё это было?» А на ум приходят грустные, но столь милые русскому сердцу есенинские строки: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Но «сон» каждого живущего на Земле знаменует собой не только судьбу отдельного человека. В нём отразилась эпоха, тем более такая интересная, как советская, и в ней значительны самые малые житейские подробности, раскрывающие суть и глубину этого сложного, возвышенно-ниспадающего и одновременно поучительного прошлого.

Важность и нужность совершённых дел можно увидеть лишь с вершины прожитых лет. Глядя с неё, легче понять эпохальность событий. Не случайно историки и археологи считают чьё-нибудь будничное повествование, изложенное на бересте, папирусе, дощечке или бумаге, ценнее золотой статуэтки. И это очень правильно и символично, потому что для истории равны и важны все письменные свидетельства: и смерда, и раба, и господина.

Возможно, и мои заметки послужат доброму делу памяти.

* * *

Частный ветхий дом на Гребешковском откосе стал первым, что пригрел меня после рождения. «Пригрел» – громко сказано. Когда в суровый декабрьский день меня принесли в родительский дом, его бревенчатые углы промёрзли насквозь, и от осевшего в них инея тянуло сизым дымком промозглого холода.

Невелик дом, напоминающий обычную крестьянскую избу. Половину его занимала кухня, а в ней – огромная русская печь с подтопком, другая часть – большая зала да спальня для бабушки и бабушки. Два окна кухни выходили на солнечный юг и вишнёвый сад с несколькими грядками для овощей, нужда в которых остро встала в годы Великой Отечественной войны. Из углового окна спальни в ясный день можно разглядеть место слияния двух великих рек России – Оки и Волги, а из окон залы – узкую дорогу, проложенную по краю откоса Похвалинского съезда – бывшего оврага, по дну которого сотню лет назад устроили транспортный спуск к Оке. На другой стороне съезда улица – точная копия нашей, а на ней церковь «Похвала Богородице» – отсюда и название. В зале и спальне по солнечным утрам всегда празднично: щедрый свет неустанно льётся в три окна, а по стенам бегают шустрые зайчики. Вместительные дощатые сени с пятью ступеньками, многочисленные чуланы и чуланчики и так называемый мост придавали дому солидный вид. Венцы между тем подгнивали...

После закрытия Нижегородской ярмарки в марте 1930 года у деда Василия, бондаря, поставлявшего на ярмарку из пригородной деревни бочкотару, пресёкся верный, казалось бы, источник дохода. Пришлось крепко задуматься о дальнейшей жизни, о заработке и устройстве семьи сына и главного помощника – Александра, у которого уже было двое детей.

Александр, мой отец – первый сын и пятый из восьми детей в семье, – уже несколько лет трудился в городе, в областной детской комиссии. Безобидное по названию учреждение, созданное по инициативе Феликса Дзержинского для ликвидации небывалой и вполне объяснимой после Гражданской войны детской беспризорности, занималось в ту пору важнейшим и очень нужным делом. Ведь в стране Советов, по официальной статистике 1922 года, насчитывалось около семи миллионов беспризорных детей. Филиалы этих комиссий при исполкомах советов были в каждом губернском и уездном городах. Для советской власти беспризорные дети являлись тем бесценным материалом, тем самым чистым листом или мягкой глиной, из которых можно вылепить «новых людей» – верных, неприхотливых в быту строителей и защитников социализма. Прозорливость намерений с успехом подтвердилась в годы индустриализации и Великой Отечественной войны. «Мы долго молча отступали», – словами Лермонтова можно сказать и о начале последней войны. Но вот обучились на комбатов отчаянные и знавшие жизнь бывшие беспризорники, и победный перелом в ходе войны совершился. И не только, конечно, командиры, но и рядовые, в том числе всем известный Герой СССР А. Матро-

сов. Можно вспомнить другого беспризорника и Героя войны, – Андрея Черцова, командира торпедного катера ТК-93. Их именами названы улицы во многих городах России.

Мой отец с двумя классами церковноприходской школы, конечно, не был чиновником в этой детской комиссии. Он скромно учил хулиганистых сирот в детском доме столярному делу. Многолетнему столярно-плотницкому опыту и здесь нашлось применение. Сам же ютился на огромном сундуке в прихожей у сестры на противоположном конце города в районе Старой Сенной площади. Лишь по воскресеньям он уезжал в родную деревню навестить детей и жену – колхозную доярку-ударницу.

Бытовая неустроенность заставила деда Василия, кустаря-отходника, а точнее, «надомника», срочно решать вопрос с жильём в Нижнем Новгороде. Он мечтал купить частный дом, дабы сохранялись традиции патриархального народного быта, устои векового крестьянского хозяйства, мало подвластного и капиталистическим, и социалистическим преобразованиям. Часто бывая в городе, дед видел, как деградируют некоторые крестьяне, ставшие в одночасье рабочими, не имеющими ни кола, ни двора, ни истинной свободы.

Легко сказать, да трудно сделать.

Первая часть задачи, продажа деревенского дома, разрешилась весьма споро и по-родственному. Дом брался выкупить зять – муж старшей дочери. Его, умелого бондаря, прежде всего привлекала хорошо оборудованная мастерская («рабочая»), которая была в полуподвальном этаже деда Василия.

Вторая часть проблемы растянулась на несколько лет. Деду Василию не нравилось Канавино с ежегодными половодьями, затапливающими весь «низ», – так он называл прибрежные низинные места Волги и Оки. Особенно памятным для него и всех нижегородцев стал 1926 год, когда в воде оказались первые этажи на Рождественской улице. Его родная деревня находилась на высоком месте, потому всё, что располагалось ниже допустимой, по его мнению, линии, вызывало в нём настороженность. Он не любил сырые подвалы и погреба. Да и кому они могут понравиться? И заботился он прежде всего не о себе, а о будущих внуках и внучках, которым жить и жить на этом – новом, выбранным именно им – месте. Важность выбора да крестьянский опыт подсказывали, что без коровы семье из шести человек при двух кормильцах не выжить, тем более в городе.

Дед Василий, ещё в царское время десятки, а может, даже сотни раз проезжавший по Похвалинскому съезду с грузом для ярмарки, мечтал об одном из тех домов, что стояли на гребне по обеим сторонам съезда. Пока наконец четвёртый зять деда не нашёл-таки место, удовлетворившее всех домочадцев: Гребешковский откос. Дом инженера Мягкова.

Однако будущее этого дома и соседских представлялось туманным. С конца 20-х годов Нижкапстрой – подрядчик по строительству автомобильного моста через Оку у Благовещенского монастыря – приглядел на Гребешковском откосе место под многоэтажный дом для своих работников. Рядом ведь: с горки спустился – и вот тебе рабочее место. По договору Нижкапстрой должен был обеспечить владельцев пяти частных домов аналогичным жильём в другом районе города. То ли места не нашлось подходящего, то ли в смету не уложились мостостроители, но «бодяга» с переселением растянулась на долгие годы. Обозлённые задержкой владельцы планируемых к переносу домов вышли на прокурора, и по его иску суд в июле 1930 года отказал Нижкапстрою в претензиях на территорию при въезде на Гребешок. Надолго ли?

Видимо, шаткость положения и наличие «запасного аэродрома» заставили сына священника, инженера Мягкова, продать жильё с «сомнительным» будущим крестьянину Александру Сомову.

Дом в полста годов с виду производил хорошее впечатление, но был неудачно спроектирован. Огромная русская печь почти в центре дома, хотя и грамотно сложенная, не давала нужного количества тепла для прогрева дальних углов. В них скапливался конденсат, а вечная сырость для дерева – смерть. Дом быстро ветшал. Кто его так неудачно построил – неиз-

вестно. Мы лишь знали, что заказчик его – священник Никольской церкви на Гребешке, которая когда-то стояла на крутом обрыве, нависающем над Благовещенским монастырём, первым строением будущего Нижнего Новгорода.

От Никольской церкви к середине 30-х годов остались лишь огромные глыбы спёкшегося от взрыва красного кирпича. Всё, что можно было использовать, унести на руках, увезти на тележках, уже растащили жители близлежащих домов. Практичный инженер, сын настоятеля храма, тоже не остался в стороне – двор священнической усадьбы он выложил поставленным на ребро кирпичом.

И в самом деле, все постройки вокруг нашего дома органично составляли усадьбу. Узкий двор вёл к дощатому длинному сараю с парой дверей, над которыми блестели небольшие застеклённые оконца, дань требованиям пожарной инспекции. Позднее, к сараю, слева, пристроили бревенчатый коровий хлев, а над ним и сараем устроили сеновал. Каждое лето его набивали душистым сеном, накошенным на склонах оврагов и съездов, окружавших Гребешковскую (Ярильскую) гору. Ярило – языческий бог древних славян, символ плодородия земли и повелитель диких животных.

Все тайные и явные мечты деда Василия воплотились в купленной усадьбе. Частный дом, хозяйственные постройки, сад и огород – и всё это чуть ли не в центре большого города. Тут тебе и посильный для детей физический труд, приводящий к полезным рукоделиям, и хорошее городское образование, и чувство братского локтя, и близость к природе: к растениям и животным, что рядом, совсем рядом. Протянув руку, их можно потрогать, погладить, их нужно покормить и напоить. Вокруг разлитое дело, требующее приложения рук без призывов и пустых слов.

И я до сих пор преклоняю голову перед своими родными, подарившими мне такую замечательную возможность для развития души и тела.

* * *

И вот многочисленные домочадцы – дедушка с бабушкой, отец с мамой, два брата и две сестры – с любопытством заглядывают за откинутый угол тёплого конверта, сооружённого из ватного одеяла, чтобы увидеть меня новорождённого. Первый вопрос, что мучает всех – на кого он похож? – кажется смешным. Ну на кого может быть похож этот маленький комочек мяса?

На протяжении столетий родители и все родственники самым серьёзным образом решают: на кого же похож только что рождённый человечек от трёх (а то и двух) до четырёх килограммов весом? И при этом спорят, порой до изнеможения, пытаюсь найти в любимом чаде только свои неповторимые черты. Родных словно поражает вирус тупой забывчивости, ведь «израстаясь», ребёнок кардинально меняет свои черты. В обсуждении между тем заложена великая мудрость и любовь. Люди лишний раз хотят удостовериться, что всё в мире идёт по плану, по-божески, что вновь появившееся на свет существо подобно образу Божьему, а род людской сохраняется и продолжается.

Итак, на исходе первого полностью невоенного года я бессмысленно жмурил глаза, не замечая ни побелевших холодных углов теперь уже родного дома, ни нетерпеливых лиц родных, ни их улыбок, ни чего-либо другого. Но мой мозг уже напитывался звуками родных голосов, развивались центры слуха, а за ними центры аналитики. Ласковые слова родных так много значат для формирования мозга ребёнка, а значит, личности...

Через двадцать лет, второкурсником политехнического института, я узнал об этом на лекциях по диалектическому материализму. Читал их профессор с запоминающимся красивым лицом и причёской «а-ля Алексей Толстой», с падающими на широкий лоб чёрными прядями. Раздвигая их, он театрально встряхивал головой, а мы, зелень второкурсная, с восторгом

наблюдали за его выверенными движениями, подпадая под их очарование. Читал он лекции без бумажки, по памяти, что было в ту пору диковинкой. Он говорил, что ребёнок поглощает информацию, ещё находясь во чреве матери. Девчонки-однокурсницы смущённо и стыдливо отводили от профессора глаза, парни бедово ухмылялись...

Пока же никакие «мелочи» не могли отвлечь меня, младенца, от тёплой материнской груди, полной вкусного, несравнимого ни с каким другим молока. Глаза мои не различали обилие мелочей, они понимали сущее: грудь, молоко, тепло! Мама – что-то широкое, большое, изначальное доброе и светлое, беззаветно любимое. Дрёма приливной волной накрывала меня, баюкала, шурша в незамутнённой голове, словно мелкая галька на речном пляже.

Жили-были дед и баба

1

Мой крестьянский род тянется из забытых глубин прошлого. Я – потомок Микулы Селяниновича. Рюриковичам далеко до меня. Что ж из того, что ветви родословного древа скрылись в плотном сумраке времён и почти невидимы? Отыскивать имена предков, веками поднимающих зябь и ярь на одном и том же бугре, не имеет большого смысла. Я знаю, где они жили, как беззаветно работали, знаю, куда принести скромные полевые цветы на помин их души. Хотя бы на тот же бугор, который они возделывали сотни лет, не истощая почву.

Как-то пришлось прочитать родословную некоего гражданина из народа. Описать её очень легко. Предки XVIII века: крестьяне с именами Карп, Мефодий, Ананий, Акакий. XIX век – крестьяне Фёдор, Поликарп, Тимофей, Евфалий. В XX веке – те же крестьяне, но с именами Сергей, Иван, Павел, Михаил. Не смешно ли?

В генеалогическом плане крестьяне – это те же монахи, кому родословное чванство неведомо. В Кирилло-Белозёрском монастыре свои имена умирающие монахи завещали выбивать на пешеходных плитах, чтобы время и ноги богомольцев стёрли их имена навечно. Без следа?!

Ступал и я по этим плитам своими грешными ногами. И под яркими лучами летнего солнца темнели шумерской клинописью остатки русских имён. Что это? Православная скромность, вековая дремучесть или провидческая мудрость, пронизывающая неизбежность конца людской истории и бесконечность времени?

Может ли время быть бесконечным? Одному Богу известно.

«Не поминай имя Господне всуе», – знаем мы из Евангелия. Что же говорить о своём грешном «Я»? Отнюдь не показным было у монахов это чувство – не искать славы земной. Не в знатности имени видели иноки (иные) своё предназначение, а в иступлённых молитвах во славу Господа своего, Отчизны и Души, расцветающих под лучами Божьего озарения.

Да, и что такое породистость, о которой постоянно и так много говорят? Она заключается не в подробной родословной, ведущей начало от сотворения земли, а в красивой Душе. Ведь душа может быть лживой, гнилой, жадной, а у некоторых её и вовсе может не быть. Разве породистыми можно назвать людей с богатой родословной, но грязной душой? Ответ, я думаю, очевиден.

Так и крестьяне, беззаветные устроители и пахари земли русской, не считали нужным освещать своими скромными именами путь народа в кромешной тьме веков и молитвенного труда. Тысячу лет назад выходили они на пахоту, пятьсот лет назад, день тому назад. Выйдут и сегодня, и завтра. Им не страшно умирать: о них вечно помнят поля и пажити. «Я Микула, мужик я Селянинович, меня любит Мать-Сыра Земля», – отвечал пахарь богатырю Святогору.

К монахам тянулись и тянутся за духовной пищей миллионы паломников из далёких краёв. Так и добрые, отзывчивые и памятливые едоки хлеба помнят о тех, кто его вырастил.

Кажется, что крестьянский труд, как и слова молитвы, растворяются в воздухе без следа. Уж очень плотно закручена спираль хозяйственных дел и не сразу видны их результаты. Вспахал, отсеялся, убрал урожай. И тут же снова надо вывозить навоз на поля, пахать и сеять. Зимой крестьянин отдохнул, глядя в затянутое причудливыми узорами окно, а потом вышел на оттаявшее поле, и радостно обмерла душа при виде зелени. Но нужны ещё яровые. Опять вспахал, вновь засеял поле, у которого нет ни начала, ни конца, как у крестьянских забот.

Богом для крестьянина была Природа. Ей он молился и испрашивал совета, как и когда с ней общаться, то есть обрабатывать и нежно преобразовывать её. Тот, кто видел радость в этом общении, был счастлив. Прасол и поэт Алексей Кольцов так пел о радости крестьянского труда:

Заблестит наш серп здесь,
С тихою молитвой
Зазвенят здесь косы;
Я вспашу, посею;
Сладок будет отдых
Уроди мне, Боже,
На снопах тяжёлых!
Хлеб – моё богатство!

Белые вьюги, казалось, навечно и наглухо закрывали деревню. Весенняя распутица полностью отрезала её от внешнего мира. Проливали на неё свои холодные струи нескончаемые, осенние дожди. Сумрачно и неприятно в эту пору на душе. Но сильна и могуча традиция, зов крови и земли не давал закиснуть созидательному духу. «Готовь сани летом, а телегу зимой». Так крестьянская мудрость боролась с разжижением воли землепашца. И не могли они сидеть без дела, руки искали его, и от этого постоянного поиска становились они золотыми.

Детей же своих крестьяне рассматривали прежде всего как будущих работников и помощников. В них они видели надежду и опору, самостоятельных тружеников и кормильцев своих: ведь к старости уходят силы, слабнут руки, и серп становится тяжёл, словно кузнечный молот.

Шли годы, сменялись поколения, укреплялись традиции, росла культура не только обработки земли. Над всем этим возвышалась, как абсолютная истина, жертвенная служба делу, мудро приниженная простыми, обиходными словами: «Вот день прошёл – и слава Богу. Так бы прожить и завтра». Так говорили деды мои и прадеды. Так говорили отец мой и мать. Так пытаюсь говорить я, когда испытываю удовлетворение от дня, когда хорошо поработал.

Наверно, кто-то сочтёт эту похвалу русскому крестьянству излишне возвышенной, а может, и надуманной. Разумеется, «в каждой семье не без урода». Мой земляк Максим Горький не любил «мужиков». Что ж, у каждого своя история происхождения, своё мировоззрение. Каждому своё. Впрочем, а рабочие – это не те ли российские «мужики», что толпами бежали из деревень на встающие из лона капитализма, а потом социализма, заводы и фабрики? Нет, я не вижу в словах своих преувеличений, потому что так чувствует моя крестьянская душа. Импрессионисты, кубисты и разные прочие футуристы в ответ на обвинения о непонятности изображённого на картине отвечали: «Я так вижу!» А я вижу вот так.

С интеллигенцией, хотя и она некогда имела общую пуповину с «мужиками», всё гораздо сложнее. В ней чётко различаются поколения по степени отхода от физического труда. Чем выше степень, тем яснее и ошутимее отрыв интеллигенции от народа.

2

Через четыре месяца после моего появления на свет Божий в дом пришла беда. Неожиданно умер дедушка Василий. Накануне, как рассказывала мама, свёкор сидел на диване рядом с ней, вязавшей шерстяные носки для него. Свёкор особо выделял младшую невестку, нравилось ему смотреть, как любое дело горит в её ловких руках. Мама отвечала взаимностью, обращалась к свёкру исключительно на «Вы» и называла «тятенька».

А ведь на первый взгляд можно было бы ожидать сложностей в общении свёкра и невестки, зная о разности религиозных взглядов. Мама происходила из православного старообрядческого семейства, исповедовавшего суровую беспоповскую веру – так называемых «понетов», или, по-научному, свидетелей «Спасова согласия». Крестное знамение она совершала двуперстием, тем самым, что можно увидеть на знаменитой картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова». И крестик нательный у мамы был особенный, без распятого Спасителя на нём. Свёкор, и, соответственно, его сын, мой отец – церковники, крестившиеся «щепотью», истово поклонялись господствовавшей до революции православной церкви. Но все эти религиозные тонкости находились в столь глубокой тени, что не смели не только как-то обозначиться в семейных отношениях, но даже слегка пошевелиться в них.

Свёкор обожал своих многочисленных внуков от восьмерых детей числом не менее двадцати пяти душ. Особенно привечал он тех, с кем делил кров. Он частенько говорил невестке: – Анна, собери-ка мне Славного (так он звал старшего внука с ударением на второй слог), я прогуляюсь с ним по «низу».

«Низ» – это не нечто второстепенное, чем «верх» – Гребешковская (Ярилина) гора, где стоял наш дом. Нет! Это название пришло из глубины веков, из седого средневековья, со времён покорения славянами мордовских племён, издавна заселивших берега реки Оки. Русские из новой своей столицы Владимира спускались на стругах по Клязьме до Оки, а потом ещё ниже по течению до Волги. Низовья реки Оки и прозвали «низовской землей», когда основатель Нижнего Новгорода, великий князь Владимирский Юрий (Георгий) Всеволодович, воевал здесь в XIII веке с мордвой.

Со дня основания Нижнего Новгорода низ – самое оживлённое место в городе. И как иначе – ведь здесь две главные дороги Руси – Ока и Волга. Что по воде, что по льду – ровнее пути не сыщешь. По льду, однако сложнее, и потому вплоть до Октябрьской революции зимой в нагорной (правобережной) части Нижнего Новгорода господствовала тишина. Лишь звон колоколов бесчисленных приходских и монастырских церквей тягуче растекался над скованными льдом Окой и Волгой, над мещанскими, купеческими и дворянскими домами и особняками, отзывался эхом в глубоких и узких оврагах и съездах, проложенных по бывшим оврагам.

К началу навигации население города увеличивалось в 5–7 раз. Особенно этот прирост был заметен до изобретения парохода, когда на бурлацкие биржи труда (базары) собиралась голытьба, беглые и малоземельные государственные крестьяне и даже крепостные, приведённые старостами деревень. Эта буйная орущая ватага собиралась у Волги на нижнем посаде или базаре, который после революции стал называться Нижневолжской набережной. А чуть выше неё, параллельно берегу, пролегла самая богатая улица города, Рождественская, получившая имя в честь церкви Рождества Богородицы, построенной в самом начале XVIII века богатым графом Григорием Строгановым.

Вот на эту улицу шёл дед Василий с маленьким внуком, облачённым в матроску – самую модную и праздничную мальчишескую одежду XX века. Мода, возникшая с рождения царевича Алексея и поражения в Цусимском сражении. Словно каждый мальчишка обязан был помнить о русском флоте и укреплять его своими силами.

Благообразный, худошавый, высокий старик с седыми гладкими, но не редкими волосами, разделёнными прямым пробором на две равные части, с небольшой бородкой, в модной полувоенной толстовке, не спеша спускался с внуком по Похвалинскому съезду к только что выстроенному автомобильному мосту через Оку. При въезде на мост, сбоку, стоит будка для вооружённого охранника.

– Деда, – спрашивает семилетний внук, – а чего он тут сидит?

– Мост охраняет! – внушительно отвечает дед.

– От кого?

– Мост есть важный стратегический объект, а вредителей кругом очень много.

Славка не понимает, что значит «стратегический», но слово «важный» ему хорошо знакомо, да и о вредителях он достаточно наслышан, и любопытство его удовлетворено с лихвой.

Под мостом река свободна от судов, пристаней и прочих плавающих посудин, видимо, в целях безопасности. Зато выше и ниже моста вся прибрежная гладь реки буквально впритирку заставлена баржами, буксирами, колёсными пароходами, что стоят в два-три ряда возле пристаней. Выше моста – плавательный бассейн с десятиметровой вышкой, лодочная станция и эллинг для парусных судов. Десятки из них «валяются» на боку, упиравшись длинными мачтами в землю. Вокруг яхт, швертботов, «кадетов» крутятся загорелые, обнажённые по пояс парни. Они шпаклюют, грунтуют, красят своих любимцев.

Разве ж можно заскучать у большой воды? Гудят и пытят маленькие буксиры, выбрасывая из коротких труб чёрный дым, шлёпают по мутной и быстрой воде шлицы пароходов, снуют вёсельные лодки с нарядно одетыми дамами и мужчинами, мелькают белоснежные паруса яхт. Так бы и сидел на берегу, часами разглядывая всю эту с виду суматошную, но внутренне организованную и полезную работу. Весело на реке...

* * *

Дед, Василий Семёнович Сомов, прозывался в пригородной деревне, откуда он родом, «Модным». Мирских прозвищ удостаивались почти все общинные (мирские) крестьяне. Поводом для навешивания пожизненного ярлыка мог стать любой запоминающийся и неожиданный факт. Неудачно сказанное слово, забавная манера поведения, привычка, черта характера. Одну из моих двоюродных сестёр, в годы войны пасшую козу в деревне, «окрестили» «Чепой». Она, добросовестная и ответственная девчонка шести лет, боясь потерять козу-кормилицу, часто звала её: «Чепа», «Чепа», «Чепа». Так кличка козы прочно, на десятилетия, приклеилась к ней.

Дед Василий, крестьянин-кустарь, имел в подклети дома «работную» (так звали мастерскую, где «работали» бочки, ящики, а также пеналы, шкапулки и другие канцелярские принадлежности). Ему часто приходилось по торговым делам с нижегородскими и московскими купцами ездить на ярмарку, поэтому он «чисто» одевался, чтобы достойно вести переговоры. Своёобразный купеческий дресс-код. Отсюда – «модный».

Место для деревни в 20 вёрстах от Нижнего Новгорода, где он родился, крестьяне выбрали с умом. Деревня протянулась вдоль гребня длинного и высокого холма, западный склон которого изобиловал чистыми полноводными родниками. Выше них, по косогору, но чуть ниже основного хребта, проложили широченную улицу. Она разделялась на два самостоятельных порядка: верхний и нижний. При разговоре крестьяне, чтобы точнее указать на заинтересованное лицо, всегда называли порядок: «Настя Котомина с верхнего порядка», – говорили они, например. Позднее на северном въезде в деревню вырос ещё перпендикулярный отросток из семи домов, звучно названный Кочетовкой. Кочетом крестьяне издревле зовут петуха, деятельно и эффективно исполняющего свои обязанности.

Василий Модный родился на четыре года позже главного смутьяна XX века Владимира Ульянова и считался в деревне одним из самых грамотных, и потому был уважаем. Ни в каких

коридорах учебных заведений он замечен не был, а имел, так сказать, «домашнее» образование. Вопросы обучения малышей грамоте решали в деревне специальные люди.

Занималась с Василием грамотой старшая его сестра Алевтина, жившая в «кельях». Так называли в деревне маленькие домики в два окна по фасаду, с низкими земляными завалинками, без хозяйственных дворов. Их строила сельская община для инвалидов, бездетных вдов, старых дев, одиноких старушек и стариков, истово предававшихся молениям Богу. «Кельи» стояли под горой среди полноводных родников, ниже нижнего порядка, невдалеке от кладбища. Среди их насельников были «мастера грамоты».

Алевтина – деревенские ласково звали её Лентишка – в раннем детстве неудачно упала с полатей и сломала в суставе ногу. Травма не давала возможности выполнять тяжёлую крестьянскую работу. Потому-то отец её, Семён Сомов, поселил дочь в «келью», научил читать и писать, и стала она учительствовать.

Помощь погорельцам, убогим, особенно потерявшим здоровье при несчастном случае, немощным по старости, а порой и нищим, настойчиво захотевшим сменить свое социальное положение, была особой статьёй приложения общинных сил. Для постройки немудрёного жилья выделялся лес на корню. Заинтересованное лицо, в данном случае Семён Сомов, рубил его, обрабатывал, привозил. Самая трудоёмкая работа – сборка сруба – шла в выходные дни, но не в праздники, с участием большинства общинников. Даже дети принимали посильное участие. Трепали паклю, собирали щепки. Эта так называемая «помочь обществу» выполнялась просто за «спасибо». Все понимали, что от жизненных неприятностей (пожаров, аварий, травм, неурожаев) никто не застрахован. Потому крестьянин, а значит, народ, никогда «от суммы да от тюрьмы не зарекался».

Сельская община наделяла келейников небольшим участком земли. «Келейники» огородничали, вязали сети, шерстяные вещи, шили деревенскую немудрящую одежду, учили детей грамоте и основам крестьянского труда. Тем самым выполняли посильные, но очень нужные, работы, снимая часть нагрузки с женской, материнской доли. Что и говорить, перспективно решали русские крестьяне проблему занятости людей с ограниченными возможностями.

С двенадцати лет долгими зимними вечерами Вася колотил в «рабочей» ящики. Втягивался в работу под присмотром отца постепенно, без нажима, исподволь. Мальчику нравилась эта работа, нравился разномастный, кружащий голову дух деревянных заготовок из сосны, осины, липы или дуба. Запахи, поднимающиеся из мастерской, пропитывали всю домашнюю одежду, бельё, тело, и даже утварь пахла свежей стружкой. Светло-жёлтые оструганные дощечки и их духовитый аромат легко сочетались с понятием чистоты, свежести и удовольствия от физической работы. Весной жаворонки приносили весть о подсохшей земле, о приблизившейся посевной. Наваливались нелёгкие, изматывающие тело, но лёгкие для души весенние крестьянские хлопоты...

Подростком Васька стал ездить с отцом на берег Волги, где у большого села Кстово из брёвен, сплавлявшихся по реке, пилили дощечку. Тогда-то Васька научился запрягать лошадь в дровни. Сколько новых, ранее неизвестных предметов и слов. Седёлка, шлея, гуж, хомут, дуга, супонь, чересседельник, узда.

Зато зимой, порой холодной,
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной,
Дорога зимняя гладка.

Сухо скрипят полозья по морозному, сбитому почти в лёд снегу. Закутавшись в просторный овчинный пахучий тулуп, интересно смотреть по сторонам. Над головой заходящее солнце красит в розовый цвет высокое синее небо, а следом и облачка, столпившиеся на западе, начи-

нают пламенеть, разгораться, словно угли в печи, когда на них подуешь. Вася уже знает: если солнце сядет в тучи, то назавтра быть непогоде или пасмурному дню. Красные перья облаков напоминают сказочную Жар-птицу, распушившую свой хвост, но почему-то от этой вроде бы весёлой картины становится грустно. Вот ещё один день прошёл.

Слегка перегнувшись через нащеп, можно уловить взглядом неровности дороги, смерзшийся лошадиный помёт, на котором сани подпрыгивают, грозя перевернуться. Жутковато. Глянешь назад, и страх снежной змейкой быстро уносится в бесконечную даль. Скорость опьяняет, веселит. Зимние сумерки между тем сгущаются медленно и неотвратно.

На подъёмах с гружёных саней приходится соскакивать, чтобы не запарить любимого всеми домашними жеребца по кличке Сынок. Пробежка рядом с дровнями разгоняет по иззябшему телу кровь, затёкшие ноги оживают. Чистый морозный воздух заполняет грудь колким холодом.

Словно приятным, знакомым теплом вдруг повеет от узнаваемых в кромешной тьме мест: перелесков, холмов, ложбин, от которых уж близко до деревенских вётел. И радостно забьётся сердце при виде огней домов за очередным бугром. Да разве это огни? Дрожащие, будто от холода, светляки, не более того.

Истوما тепла и счастья при входе в избу, где у порога стоит любимая матушка, толкнёт в сердце аж до боли. И Васька полностью согласен с отцом, басящим с грубоватым довольством в плотном голосе:

– Мать, щи на стол мечи!

Плотно ложится на желудок горячее варево. Густо-багровым румянцем разгорается ещё детское лицо, а глаза становятся оловянными, пустыми.

– Васька, спишь ведь?! – с лукавым изумлением вскрикивает мать.

Отец же, добродушно пряча улыбку в бороду, посмеивается и отправляет в лохматый рот одну ложку за другой.

Из привезённого сырья можно сделать 5-литровые бочонки для коньяка, или обычные бочки, или ящики для фруктов, или элегантные ящички для канцелярских принадлежностей. Всё, как пожелает заказчик, а точнее, посредник, потому что заказчиком может оказаться и московский известный купец, живущий за тридевять земель. Так воспринималась Москва в нижегородской глубинке.

В 20 лет Василия оженели (так тогда говорили) на девушке-старообрядке из соседнего села Кате Мухиной. Как предназначено неписанными законами, невеста беспрекословно приняла веру мужа и обвенчалась с Василием в церкви соседнего села. Всех детей своих немалого числа в десять ртов (восемь дожили до зрелых лет) крестила в официальной церкви. В отношении выбора веры для детей «строгостей», впрочем, никаких не существовало. Хочешь – записывай ребёнка в старую веру, хочешь – в официальную, так сказать, новую. Родительское право. Разумеется, поощрялась «новая» вера. Ещё со времён Петра Великого старообрядцам категорически запрещалась пропаганда своей древней веры.

Общий крестьянский труд размывал тонкости вероисповедания, ведь, как ни крути, вера-то одна – православная. И весьма надуманными представляются якобы существовавшие различия и противоречия между православными крестьянами из официальной церкви и старообрядческой.

Любовь и согласие сопровождали Василия и Катерину на всём долгом семейном более чем полувековом пути. Как-то, уже в зрелом, солидном возрасте – четверо детей сидели по лавкам – дед Василий поздно возвращался из Нижнего Новгорода, сдав продукцию своей «рабочей» купцу Самойлову из Канавина. Дед Василий не любил, а честно говоря, побаивался ночевать на городских постоялых дворах, кишящих соблазнами и жуликами. Принять же приглашение от Самойлова и остаться на ночь в большом доме купца он тоже не смел, –

не позволяло мужицкое воспитание да природная скромность. Вот и приходилось в густых сумерках возвращаться домой.

И ещё Василий не любил прельстительных разговоров купца Самойлова, которые тот иногда заводил.

– Василий Семёнович, что ж вы не расширяете своё дело? – спрашивал вкрадчиво купец, – ведь деньга-то звенит в кармане: я знаю это наверняка, сам оплачиваю вам работу.

– Полно вам, Тимофей Ильич, какой из меня, мужика, купец...

– Не скажите, Василий Семёнович, не скажите. Конечно, не сразу купцом в город, а исподволь. Организовать надо лавку в деревне вашей, можно для начала устроить её в кладовой. Прорубить окно да двери пошире – вот лавка и готова. Керосинчиком можно торговать, дельце выгодное. Я помогу его достать на фабрике Тер-Акопова на Большой Сормовской дороге у деревни Вари.

«Хитёр Самойлов, пальцы в рот не клади – откусит. Потребует за посредничество мзду немалую», – думает Василий.

– Не сомневайся, Василий Семёнович, много за помощь не возьму. Введу я тебя в суть дела по-дружески. Мил ты мне своей честностью и строгими нравами. Старею, а компаньон-то с капиталом нужен позарез: дело передать некому. Сам знаешь: сын у меня неспособный к делам, а умирать ему и мне легко будет среди хороших людей, таких, как ты, да твои дети, которые подрастут к тому времени, скажут тебе «спасибо».

«Дни наши сочтены не нами», – уверен Василий, представляя самоейловского сына с трясущейся головой и суставами, как на шарнирах, но молчит, не хочет обижать Самойлова торопливым и преждевременным отказом.

– Собьёшь капиталец, дело общее расширим. Большой павильон на ярманке прикупим. Или сами построим: работных людей вокруг пруд пруди, а вы, Василий Семёнович, по дереву дока.

– Думал я об этом, Тимофей Ильич, ох как думал. Но не умею я торговать. Скорее – не люблю. А ведь сами знаете, мы, люди грешные, любим лишь то, что умеем делать, и делаем то, что любим. Не торгаш я, – Василий опасливо замолкал, ведь выходило так, что Самойлов – торгаш. То есть тот человек, дело которых не любит Василий Семёнович.

Самойлов понимал эту двойственность и примирительно подводил итог разговору:

– Вы, Василий Семёнович, подумайте над моим предложением. С женой посоветуйтесь.

Жена приносила детей каждые два года. Некогда было думать о нелюбимой торговле, а чуть позднее Калиничев, один из разбогатевших крестьян деревни, опередил Сомова и стал торговать керосином и бакалеей. Его в годы коллективизации раскулачили и сослали в Сибирь. Дед же остался при своих и любил повторять: «Всё, что ни делается, всё к лучшему».

Зимой вместо плашкоутного моста через Оку специально намораживали «зимник», чтобы чуть ли не до ледохода переправляться с берега на берег. Зимняя дорога спорая, весь товар завозился по ней. Весной же около двух месяцев правобережная и ярмарочная-кунавинская стороны были напрочь отрезаны друг от друга бурной весенней водой. Жди, когда она схлынет, да мост плашкоутный наведут. Зимой хорошо: мороз бодрит, а дорога сама собой бежит.

Тусклый зимний день заканчивался позёмкой, летящей по льду Оки. Ветер дул вознице в спину, кружил, вертел, бросал пригоршни снега в лицо, раздувал жеребцу Сынку густой вороной хвост. Конь, застоявшийся от долгого ожидания, недовольно помахивал им и без всякого понукания торопился миновать продуваемый речной прогон. Дед озабоченно поглядывал вокруг. Вскоре они, миновав Оку, въехали на Похвалинский съезд за Благовещенский монастырь, куда северо-западный ветер не доставал. В узкой трубе съезда стало совсем темно, лишь тихо падали снежинки и ничто не напоминало о вьюге. «Ничего, – думал дед, – доберёмся с Божьей помощью, не впервой». Сынку был в радость этот подъём вдали от вьюжистой речной

долины, он разгорячился от привычной работы и споро тащил полегчавшие после разгрузки сани.

На купола церквей Благовещенского монастыря дед Василий привычно перекрестился, сдёрнув меховые рукавицы и шапку, а затем, удобно устроившись в розвальнях, задумался. С левого откоса съезда доносилось весёлое треньканье звонков трамваев – чуда народившегося XX века. Ни их самих, ни домов, тесно стоящих вдоль откосов, из-за высоких склонов видеть было невозможно. Скоро на пути, как всегда неожиданно, обозначился провал Ярильского (его ещё звали Жандармским) оврага, и дорога повернула круто налево, на Малую Покровку, где в незапамятные времена стоял жандармский пост с решёткой. И потому это место на веки вечные прозвали «решёткой». Туда же повернул и трамвай, идущий по верху, и сани Василия, но шли они рядом недолго. Трамвай загремел, двигаясь прямо, а Сынок, хорошо знавший дорогу, повернул направо, на Большую Ямскую, а потом на Арзамасский тракт.

Василий уж было хотел поплотнее запахнуть тулуп, чтобы подремать с устатку, как Сынок захрапел и резко остановился.

– Сынок, что ты, милый, что с тобой? – всполошился Василий, глядя в его налитые бешеной кровью глаза. На привычное «но-но» жеребец не отзывался.

Дед, кряхтя, вылез из дровней.

Жеребец ткнулся ноздрями деду в плечо и наклонил вороную с белой звездой голову, словно призывая хозяина посмотреть под ноги.

– Боже праведный, – запричитал дед, глянув под передние ноги коня. Между ними лежал продолговатый свёрток. С тревогой и волнением поднял его Василий и обомлел: в ватном одеяльце, перепоясанном синей лентой, лежал младенец.

– Ах, шалава! – ругнулся дед, отправляя своё ругательство неизвестной, но подлой женской душе, не остановившейся перед детоубийством.

Взял, откинул угол ватного «конверта». Лицо свежее, тёплое. Видно, что недавно он очутился здесь, на заснеженной малолюдной дороге. «Что делать? Взять с собой? Но своих-то уже четверо». Василий был уверен, что не только одна «шалава» стоит за этим происшествием.

И тут его осенило. «Отвезу-ка я младенца в недавно открытый Вдовый дом». Осторожно засунул живой и нежный свёрток за пазуху, запахнул поглубже полы длинного тулупа и крикнул извечное крестьянское: «Но, воронок, но».

Попутной была дорога. Вскоре показалась на Монастырской площади водонапорная каланча, подарок городу от купца-старовера Николая Бугрова. Перед ней стоял ещё один Бугровский подарок – долгожданный Вдовый дом.

«Сколько же кирпича вбухал сюда Бугров? Не меньше миллиона штук», – привычно, хозяйски представил Василий, поддёргивая левой рукой вожжу и направляя Сынка по непривычному маршруту. Огромным казался этот трёхэтажный дом с белыми пилястрами центральной части фронтона и высокими окнами с белыми кирпичными наличниками. Слишком огромным и красивым был этот дом призрения для нищих вдов с младенцами.

Василий привязал Сынка к решётке низкой ограды и вошёл в белокаменные, высокие, торжественные ворота, за которыми тянулась занесённая снегом аллея невысоких молодых лип. Приёмный покой располагался во дворе, и ему пришлось долго огибать дом, похожий на спичечный коробок с неполно замкнутой задней гранью.

– Что желает господин? – спросила строгая сестра в белой косынке, на которой горел красный крест.

– Вот, – растерянно произнёс Василий, вытаскивая из-под тулупа свёрток, – подкидыш.

Рассказывая о случившемся происшествии, Василия вдруг обожгла такая ясная, простая, но ранее не приходившая в голову мысль: что вдруг сестра сочтёт ребёнка ему принадлежащим. Краска стыда ударила в лицо, но сестра остановила его, словно прочитав мысли:

– Мы берём всех детей. Спасибо, господин, что спасли ему жизнь. Идите с Богом.

Позже дед узнал, что в доме для наиболее стеснительных блудниц-отказниц устроили секретный приёмный покой для брошенных детей. У входа висела люлька, в которую нерадивая мать могла положить ребёнка и дернуть за верёвку с колокольчиком, чтобы люльку подняли на второй этаж, в приёмный покой.

«Это ж надо, – качал головой Василий, – благодать-то „шалавам“. Гуляй направо-налево, приживай ребёночка и бросай. И его накормит, напоит и обучит Бугров».

При возвращении Катерина всегда задавала ему один и тот же вопрос:

– Удачно ли съездили, Василий Семёнович?

Екатерина Михайловна звала мужа по-старообрядчески – по имени и отчеству и на «вы».

– Неудачно, – отвечивал немногословный муж.

– Что ж ты не привёз его к нам? – спокойно посетовала Катерина мужу после рассказа, – где четверо, там и пятому место найдётся. Приготовила бы щец пожиже, вот и прокормили бы...

Много жизненных эпизодов вспоминается деду Василию во время прогулок с внуком. Искожены, изъезжены эти места с деревенской ещё молодости и зрелости вдоль и поперёк.

Суть прожитого не в каком-то одном эпизоде, даже очень важном и судьбоносном, а в потоке их. Точнее, в движении его, Василия, через то или иное событие, движение в этом потоке, а может быть, и поперёк него. Главное – движение. «Я есмь путь», – так сказал Иисус Христос. Путь к собственной Душе.

Для Василия, как и любого другого крестьянина, этим путём был постоянный, извечный труд. Он подчинялся главной идее, состоящей из трёх звеньев: труд – семья – родина. Возможно, что третье звено из этой триады и не было столь очевидным и прозрачным, но оно незримо присутствовало в работе деда Василия. Крестьянин испокон веку не только кормилец отечества, но главный солдат русской армии, выносливый в походе и бою, непритязательный в еде и быту, сообразительный и жертвенный за батюшку-царя и Русь-матушку.

Кому это непонятно?

Дед Василий расстёгивает ворот рубашки и достаёт нашейный памятный знак, подаренный ему купцом Самойловым в честь 300-летия дома Романовых. Прямоугольная пластина из червонного золота со сторонами 20x27 мм. Один угол «загнут», как лист книги нерадивым читателем. В этой части блестит зелёным кошачьим глазом небольшой изумрудный кубик. В угол на противоположной стороне вделана петля для цепочки. Лицевая часть украшена цифрами, хорошо понятными только русскому сердцу – 16 4/v 13. Триста лет назад, четвёртого мая 1613 года, короновали на царство первого из рода Романовых – Михаила Фёдоровича. Триста лет назад кончилась русская смута.

Пальцы деда чувствуют тепло, исходящее от пластины. Его трудом прогрето золото, самый лучший в мире проводник тепла, самый скандальный и смертоносный металл. Куда делся купец Самойлов после НЭПа – так и осталось загадкой для деда. Исчез, испарился, словно роса под лучами солнца...

Ветер с Волги развеивает волосы на непокрытой голове деда Василия и, кажется, разглаживает глубокие морщины на лице. От мыслей о молодых годах душа его парит, словно чайка над волжской водой, и представляется ему, что он овладел сокровенным знанием. Очистительным знанием смысла жизни, при котором не страшно умереть.

– Вишь, Славной, – говорит дед, ударяя на последний слог, – вишь, всё вокруг, – и он разводит правой рукой, словно сеятель, – всё вокруг создано человеческими руками. Великим трудом. Большая сила есть в руках обычного человека.

И он показывает ладони с ещё сохранившимися жёлтыми и крепкими мозолями.

– Деда, купи петушка на палочке, – просит Славка, мельком глянув на ладони деда.

– Эх ты, – дед ерошит ему лёгкие волосы, – что ж, идём на рынок.

И они входят в кирпичную арку, за которой на небольшом пяточке, стиснутом трёхэтажными домами, словно в каменном погребе, суетятся торговцы и покупатели. Полные, но очень подвижные женщины с жестяными коробами на высоких подставках торгуют пирогами с рыбой, мясом, капустой и ещё с чем-то, дерзко дразнящим аппетит. На открытых стационарных прилавках под навесами от дождя тускло блестит вяленая рыба разных пород: синец, чехонь, плотва, пелядь, вобла. Особенное слюноотделение вызывала вобла – жирная, с пузатыми боками, наполненными икрой, со спинкой, отливавшей воронёной сталью. Славке хорошо известен её вкус; порой вобла, стоившая в те годы копейки, заменяла в обед второе блюдо. В лотках трепыхалась свежая рыба, переложённая крапивой. Предвоенные годы – хлебное, сытое время.

Славка тащит деда к другой арке, выходящей на Рождественскую улицу, где стоит с фанерным ящиком продавец сладостей. У него можно купить комовой сахар и сахарную голову, и разных сладких зверушек на палочках...

Небедными в большинстве своём были крестьяне в дедовой деревне, тем более сам Василий, поставлявший продукцию нижегородским и московским купцам. При расчётах он предпочитал брать наличные ассигнации, а не золотые монеты, введённые как платёжное средство после денежной реформы Витте. Дед объяснял предпочтение бумажных денег самой простой причиной: золотой червонец легко потерять – мал он размером, а карман может оказаться дырявым. Неожиданно начавшаяся первая мировая война прекратила свободное обращение золота, и на руках у деда оказались одни «бумажки», которые после революции (тоже неожиданной) превратились в прах. Дед обанкротился.

В годы НЭПа при возрождённой после революции Нижегородской ярмарке число заказов увеличилось. Дед привлекал для ящичного дела зятьёв, соседей, расплачиваясь с ними по справедливости, не нарушая предварительных договорённостей. Забрякали в карманах серебряные полтинники.

Внешняя примета крестьянского достатка – кирпичные кладовые по центру главной улицы. Их назначение многообразно. От склада зерна до спальни в удушливо жаркие летние месяцы. В сундуках хранились праздничные наряды, отрезки материи, купленные про запас от продажи удачного урожая, деловые бумаги, документы. Всё ценное выносилось в кладовые на случай пожаров, часто донимавших крестьян.

У деда Василия кладовая была вдвое больше, чем у других. Её-то и присмотрели начальники продовольственных отрядов для временного хранения зерна. Сделали лари, высыпали зерно и успокоились. Все ключи от кладовой, как водится, у Василия отобрали. Осенью дело было. Перед зимой сунулись в кладовую и ахнули. Зерна-то в ларях – кот наплакал. Озлившись, кинулись к Василию:

– Эй ты, модный-сковородный, куда дел зерно?

– Какое зерно? – удивился дед.

– Ты ещё смеёшься? Из кладовой!

– Да я там не был всё это время – ключей-то нет. Вы же сами отобрали. Приказали бы проверить – я бы ходил, а так не обессудьте.

– Врёшь, Модный, – не поверили они. – Есть у тебя запасные ключи.

И кинулись с обыском в поисках ключа и зерна. Но вернулись несолоно хлебавши, что совсем их раззадорило. И состряпали они деду дело.

Как расхитителя зерна, а значит, классового врага, деда арестовали и заточили в знаменитую кутузку на Малой Покровке в Нижнем Новгороде.

Старший из зятьёв деда, Николай Железнов, обнаружив многочисленные дыры, прогрызенные крысами, доказал, что дед не виноват. Хранителям зерна надо было чаще заглядывать в кладовую. Деда через три месяца выпустили, но потрясение от увиденного в тюрьме оказалось слишком сильным. Вплоть до смерти его мучили сердечные боли.

В год великого перелома – так назывался 1929-й – раскулачивание пришлось стальным катком и по деревне деда. Кто и как влиял на составление списков просто раскулачиваемых с реквизицией «излишков» и тех, кто подлежал изгнанию из деревни на принудительные работы в далёких и суровых краях с оставлением всего нажитого колхозу? Каким образом решалась судьба сотен тысяч зажиточных крестьян? Что могло служить последней каплей различия между крепким середняком и кулаком-мироедом, то есть врагом, которого надо изолировать от общества, дабы избежать его тлетворного влияния на остальных крестьян? Кем окончательно проводилась тонкая линия, разделяющая крестьян на чуждых советской власти и сторонников, на живых и мёртвых?

Вопросы без ответов...

Однако хозяйство Василия не раскулачили – авторитет был большой – много он делал для людей. Ведь даже полноводный родник, им обустроенный, назвали «Сомов родник». Но отобрали вороного Сынка и тягловую лошадь, а две дойные коровы пополнили колхозное стадо; ополовинили овечью отару, но не выслали, как Калиничева, за Урал.

Для всей многочисленной родни дед Василий был стержнем, основой, на которой строились все отношения и формировались характеры детей и внуков, из которых я был ещё не последним. Человеком он был немногословным, добрым, любящим каждого из многочисленной родни одинаково.

Отец рассказывал мне, что как-то подростком впервые выкурил самокрутку. Дед Василий заметил или унюхал запах табака от сына. Уточнил, действительно ли тот курил. Врать в крестьянских семьях возбранялось категорически. Отец сознался.

– Он не драл меня как сидорову козу, – рассказывал отец, – а больно схватил за ухо и сказал нечто обидное, чего я не запомнил, но прочувствовал нутром. Но, понимаешь, вылечил он меня от этой заразы.

Отец не курил всю жизнь. Мои старшие братья чуть-чуть баловались по молодости куревом после выпивки. Я, младший, оказался самым недисциплинированным. Закурил на последнем курсе института и травил себя 20 лет сигаретами по половине пачки в день, пока не одумался. Точнее, пока здоровье не стало напоминать о необходимости прекращения этой «прогрессивной» привычки.

При жизни деда отец не пил ничего, что было бы крепче пива. Пример непьющего деда, и невольный контроль с его стороны давал о себе знать. Возможно, и потому, что они, дед и сын, долгое время вместе работали на одном предприятии, перед войной называвшемся варенным заводом. Семейное звено. Они колотили ящики для упаковки банок с вареньем и всякой другой вкусной снеди.

Так формировалась сословная крестьянская культура. Может быть, кто-то удивлённо поднимет брови: «Разве существует такая?» Да!

И возрастала она из терпимости, из умения жить в многодетной семье под одной крышей нескольких поколений, из искусства возделывать сотни лет надел земли на одном и том же косогоре без его истощения, из учёта нужд соседей, входящих наравне с тобой в сельскую общину. Каждая сельская община – это своеобразная коммунистическая ячейка с её высокой моралью, с непридуманными свободой, равенством и братством, а главное, постоянным трудом на благо общества и семьи. Истинное народное самоуправление, а другими словами – демократия. Оттого-то социалистические идеи так легко, без напряжения укоренились в сознании крестьян. А совсем-совсем недавно составляли они абсолютное большинство в России...

Прожито 73 трудовых года. Дед Василий сидит на диване рядом с невесткой, которая вяжет ему носки. Я сплю в тёплой кровати рядом с печкой. За огромным обеденным столом одна из сестёр моих, двенадцатилетняя Маша, делает уроки, беспрестанно крутя головой по сторонам. Нет, она не была «вертохой», как, шутя, определял дед непослушных детей. Маша училась в основном на «отлично» и закончила школу с серебряной медалью. Просто сестра

отличалась редкостным любопытством, и всё, происходившее вокруг, её касалось. Глаза у неё вдруг неожиданно округлились, и, она прошептала, указывая на деда:

– Мама, смотри, страх-то какой...

По тёмно-серой толстовке свёкра медленно ползла неправдоподобно крупная и белая вошь. Некий крупный неторопливый альбинос не спеша прошеествовал сверху вниз и исчез, будто и не бывал. Никто не решился дотронуться до такого чудовища. Самое удивительное, что ни у кого в многочисленной семье – ни во время войны, ни после – вшей не было.

– Быть беде, – только и смогла сказать мама после увиденного. Когда-то, по её словам, она слышала о таком дурном предзнаменовании.

Солнечный свет следующего дня деду увидеть не пришлось. Он, страдающий ишемической болезнью сердца, наутро не проснулся. Тятеньку – так нежно звала его мама – схоронили на Бугровском кладбище возле церкви.

3

Бабушку Катю жизнь согнула пополам. Тяжёлый труд нарушил что-то в позвоночнике, и её фигура в профиль к старости напоминала рыболовный крючок. После смерти мужа она не пожелала оставаться с невесткой под одной крышей. Она ревновала Василия к невестке, и решила, что двум медведицам не уживаться в одной берлоге. Собрала свой немудрёный скарб в огромную шерстяную шаль, крепко завязала узлы, и сын её, Александр, отнёс его к сестре Наде, что жила в десяти минутах от Гребешка. За сыном, часто постукивая палочкой по только что выложенному асфальту на Ильинской улице, шустро семенила согнутая пополам мать.

Перед глазами фото бабушки, наклеенное на плотный, толстый фирменный картон. На оборотной стороне тиснёный официальный вензель фотомастерской Максима Дмитриева. На нём несчётное число медалей, то уставленных рядком, то беспорядочно разбросанных в левом верхнем углу. Надписи из вензелей: «Удостоен высших наград за фотографии с натуры» и «Фирма существует с 1886 года». Рядом с ними ученическим почерком выведены чернильные цифры: 13/III – 43 год, а чуть ниже дарственная: «От мамы сыну Сене на вечную и добрую память». Второй и последний сын её, Арсений, служил в это время на Тихоокеанском флоте.

Семидесятилетнюю женщину на фото нельзя назвать старушкой, – так крупны, остры и внимательны её глаза, не стянутые бесчисленными морщинами. На голове глухая староверская чёрная шаль, скреплённая ниже подбородка большой английской булавкой. Шаль так огромна, что закрывает сидящую в кресле бабушку до пояса. Видны лишь руки в светлой ситцевой кофточке от локтей да натруженные кисти.

Максим Дмитриев и его помощники не делали дежурных, проходных фото. Достоинно выглядит дорогое полумягкое кресло с вензелями по краям спинки. Бархатом обтянуты широкие подлокотники. Рядом журнальный столик, а на нём в художественном беспорядке раскиданы неведомые деловые бумаги и амбарные книги. На заднике прекрасный пейзаж с широкой водной гладью, на которой заметны блики уходящего солнца. Слева тёмная ель, а за рекой кусты смородины и белые стволы родных берёз. Всё, как на берегах милой и родной речки.

В глазах бабушки – вековечная крестьянская дума о бесконечных хозяйственных делах. Решительно сжаты тонкие губы, прямой нос, с расширяющейся к низу маковкой, волевой подбородок. «Портрет пожилой крестьянки» – так назвал бы работу своих помощников тогда ещё живой 85-летний Дмитриев. Так случилось, что он и одна из его бесчисленных фотомоделей, моя бабушка, скончались в один год...

Первая из множества внучек и внуков, Вера, рассказывала, какое удовольствие доставляло ей посещение бабушки Кати, жившей ещё в деревне.

– Мам?

– Ну что? – чувствуя, что за этим последует, отвечает вечно занятая мать.

- К бабе пойду?! – полувопросительно спрашивает Вера.
- Мешать будешь! – строго и утвердительно возражает мать.
- Не буду, мам.

Молчание.

- Ну иди. Только смотри у меня!

Прибегает Вера, а бабушка встречает её вопросом:

- Кто из баб сидит на завалинках?
- Прасковья Черныха да Настя Стешина.
- А-а. У них дел меньше. Им можно.

Угостит Веру свежим хлебом с молоком, а потом возьмёт внучку в церковь православную. В ней всё для Веры, как в сказке. Раз попала на внучку вода... Возвращаясь, Вера говорит бабушке:

- Бабуль, на меня капля попала, а я ведь не церковная.
- Глупа ты, Верка, Бог-то один для всех. Это благодать, что тебя окропил батюшка.

4

Дед Иван по материнской линии тоже был не промах, если не сказать больше. И не только потому, что ходил в ровесниках самому Сталину.

Деревни двух породнившихся семей, Чибисовых и Сомовых, разделяли всего три версты. Все деревни этой холмистой местности походили друг на друга, словно их планировал единый Архитектор. Скорее же всего, таковы были традиционные взгляды на удобство проживания, главенствующие среди народа, живущего на Правобережье Оки. Часть домов на высокой полугоре, а часть в низине. Крупное село Родники тоже имело подобную планировку. Староверы и православные мирно уживались и в той, и другой частях села, лишь в церкви ходили разные.

Дед Иван – старовер-беспопонец поморского, строгого толка, но при этом был, что называется, зачат в грехе. Мать его, похоронив внезапно скончавшегося мужа, связалась с проезжим цыганом. Любовь была страстной, горячей, и ребёнок получился желанным. А это факт немаловажный, как утверждают психологи, для дальнейшей судьбы человека.

Вдова с малышом как могла упиралась на небольшом наделе, оставшемся от мужа и сохранённом общиной для мужской, хотя и младенческой, доли. От числа мужских душ напрямую зависела площадь семейной пахотной земли. Груз тягла оказался неподъёмным для женских рук. Мир не приветствовал её связи с инородцем, так что милости ждать не приходилось, хотя по обычаям общины неполным семьям оказывалась помощь.

Община меж тем помогла определить вдову и подросток дитя в бугровский Вдовий дом. Далеко не сахарная жизнь в приюте закалила мальчишку, научила кулаком доказывать свою правду, веру и силу. Без сантиментов начиналась жизнь деда Ивана. Ох без нежностей. Однако полного худа без добра не бывает. Научился в приютской школе мальчик Ваня грамоте, стихам, арифметике.

Больная совесть постоянно грызла душу его матери, и она рано умерла. Став полным сиротой, Иван не задержался под казённым кровом и убежал из Вдовьего дома. Сиротствовал, но не в Нижнем Новгороде, среди каменных громад и льдистых сердец, а по деревням да сёлам. Тянулась сельская душа к природе, к крестьянскому труду.

Сердцем понимал он суть воли вольной, но и зов крестьянской доли был не слабее. Судьба же хранила его, берегла. Бездетная пара старообрядцев Чибисовых из родного села взяла его на воспитание. Усыновить сироту среди мирян (сельских общинников) считалось великим, богоугодным делом.

Мальчонка оказался сметливым, расчётливым и в меру жёстким. Бивали его не раз за воровство во время голодных странствий, и он привык не шараться в испуге при виде крови

и чужого человека. Душа не уходила в пятки, когда обезглавленный петух некоторое время бегал по двору, а из шеи его фонтанами била горячая кровь. Ивашка хорошо знал, что этот петух – будущая отменная еда, и ради неё нужно потерпеть и постараться.

Заколотый, но бегающий петух – это брак в работе. Крепко надо держать его ноги – вот задача, которую он с детства начинал успешно решать. Цыганская, смелая кровь требовала достойного выхода. Почему цыгане любят животных, а те их, в свою очередь, – остается неразрешимой загадкой. Какая властная сила сидит в цыганах – понятно только коням, собакам и прочей живности.

Однажды племенной бык налил кровью глазищи и вырвал кольцо в хлеву. Да и пошёл «гулять» по селу, руша на своём пути хлипкие и ветхие заборчики бедняков и разгоняя детей и взрослых по домам. Крестьяне беспомощно топтались на крыльцах, не решаясь выйти навстречу могучему зверю, несущему полтонны мышц на крепких коротких ногах. Нежданно добытая свобода крепким бодрящим вином закружила упрямую бычью голову. Если бы кто-то вышел навстречу быку в самом начале, пока его не опьянил воздух неограниченной воли, дело бы спокойно разрешилось приводом быка в стойло.

Однако момент был упущен. Бык нёс в себе нечто мессианское, пророческое, неизбежное. Слепая, необузданная сила его, вид поваленных заборов, словно разрушенных пределов допустимого невольно рисовали в умах напуганных крестьян картины евангельского апокалипсиса, грядущих потрясений, братоубийства, ожидающих их. А значит, и Россию.

– Быть беде, – шептали богобоязненные старухи. – Антихрист вселился в быка.

Все, заворожённые, подавленные и беспомощные, подались под защиту своих домов, не зная, что делать.

Но вот «дьявол» остановился, наклонил для атаки плоскую голову со страшными рогами, забил правой ногой по земле, легко разрывая её, словно здесь была вата, а не утоптаный грунт.

Но атаковать было некого. Вокруг пустота. Бык поднял голову и сбоку от себя увидел невесть откуда взявшегося парня со жгучими, внимательными глазами. В руках у того был аркан. Взгляды их встретились, и никакой борьбы характеров не произошло. Бык неожиданно опустил ставшую безвольной крутолобую башку и покорно дал накинуть на неё веревочную удавку. Иван – это был он – отвёл присмирившего быка хозяину.

Односельчане признали за ним непререкаемые способности по укрощению животных. С тех пор Иван Никандрович держал четырёх племенных быков. Двух для нижнего порядка, а двух других – для верхнего. Его породистые быки осеменяли парнокопытных красавиц, а за это деду полагались различные льготы. Крестьяне, чьи коровы «понесли», свозили на полосу Ивана Никандровича навоз в оговорённом количестве. Земля на его участке отливала сизым вороньим крылом, а тучные колосья плотнее плотно набивались зерном. Племенных быков надо хорошо и много кормить, а иначе племя будет худосочное, хилое, а то и гнилое. Кроме того, община для прокорма быков-производителей выделяла Ивану дополнительные покосы для заготовки сена.

Был Иван Никандрович на селе и главным забойщиком крупного скота. Странное, казалось бы, совмещение в одном лице двух таких непохожих по своей сути профессиональных ипостасей: способствовать зарождению жизни и обрыву её нити. Крестьянская традиция наделяла знатоков животных мистическими свойствами. Уважали на деревне Ивана и немного побаивались его стальных пальцев и тяжёлого взгляда. Потому-то дед более двадцати лет был старостой села. Крестьяне, особенно зажиточные, не любили, когда на мирском сходе их выдвигали старостами. Их, живших только для себя, тяготили общественные обязанности и служение миру.

Бедных в общине испокон веку считали лентяями, хотя в глаза никогда этим не попрекали. Основания для этого были самыми прозаичными – многовековой опыт. Тот, кто ленился, тот мало имел. Беднели, конечно, и от редчайших случаев стихийных бедствий или хрониче-

ского нездоровья. Но и в том и другом случае бедность рассматривалась как Божье наказание за грехи: работа по великим праздникам, самоуправство и неподчинение уставу сельской общины, пьянство. Бывали среди них охотники занять место старосты, но мирской сход большинством выводил их из претендентов, справедливо полагая, что он, не умеющий справиться со своим хозяйством, развалит дела общины. Ведь главным считалось умение ладить с властью и своевременная уплата налогов и недоимок.

Крестьянский мир ценил в старосте прежде всего ум, честность, опыт. Обязанностей полон рот. Тут и сохранность системы межевого деления, уплата налогов, состояние дорог, мостов, общественных амбаров и хранилищ, организация первой помощи при пожарах, недопущение лесных пожаров, незаконных порубок леса. Не справившихся освобождали. Мир собирался по указанию старосты каждый месяц.

Свой день рождения дед отмечал широко, с приглашением односельчан, только в том случае, если он приходился на воскресенье. В другие же дни рождения он тешил свою плоть на полатах, предавался размышлениям, греясь у печки, и кричал жене при стуке в дверь:

– Егорьевна, встретить, налей и дай закусить.

Сам же так и продолжать лежать, лишь отозвавшись на приветствие. Такой деревенский «этикет» не шокировал односельчан. Дед как бы говорил: «Я все 364 дня в году к вашим услугам. Можно я буду хозяином хотя бы одного дня в году? Днём своего рождения».

Спорить с дедом особо не решались, зная его взрывной цыганский характер. Потому-то и прозвали его Пылюхой, ведь от разошедшегося в сердцах старосты пыль порой летела столбом.

Советская власть не смогла, скорее всего, не захотела найти взаимопонимание с сельской общиной, как это делала царская власть в вопросах купли-продажи товарного зерна. Община считалась большевиками устаревшей и опасной формой объединения крестьян.

Февральскую революцию дед Иван пережил относительно спокойно. Только в 19-м году прижатые продразвёрсткой крестьяне окрестных сёл взорвались. Сговорились и собрались идти на Нижний. Вооружились как смогли: взяли вилы, косы, а кто-то и трёхлинейки, что остались с войны. Вышли на Арзамасский тракт и пошли большой, шумной, плохо организованной толпой требовать отмены продразвёрстки. Однако путь их был недолгим. За мостом у реки их ждала заградительная цепь ЧОНа. Солдаты частей особого назначения пустили поверх голов доморощенных мятежников несколько очередей из пулемёта «Максим». Крестьяне разбежались. Их, к счастью, не преследовали.

Дед, как говорится, задами и огородами вернулся в село, но на следующий день был арестован как староста, не обеспечивший порядок в селе. Точнее, был взят в качестве заложника, чтобы село не бунтовало. По рассказам мамы, его отвезли в город, но не в ЧК, а в новую, недавно построенную тюрьму на Арзамасском шоссе. Камеру предварительного заключения. Вероятно, подвал ЧК, что находился в угловом здании на Ново-Базарной площади, был переполнен. Взятка за освобождение была в ту пору если не стандартной, то самой распространённой: свежая говядина. Дедова свобода «потянула» на годовалого телёнка.

Коллективизация оказалась страшнее. Всех крестьян, словно гречневую крупу, засыпали по незнанию и неумению в маленькую кастрюльку с водой и поставили на сильный огонь. Крупа, разбухнув, лезла из тесной посуды, но её упрямо заталкивали назад. Едва ли правильно поняв бесперспективность этой затеи, стали вытаскивать излишки гречки из кастрюли и недоваренную выбрасывать. Из остатков наконец-то сварили нечто похожее на кашу.

У деда Ивана отобрали племенных быков, да и тех загубили в колхозе неправильным содержанием и бескормицей. Он протестовал, ходил, давал советы, как обращаться с быками. Короче, надоел. В первый же год коллективизации деду спровоцировали арест. Он отдыхал вечерком, в сумерках на крыльце собственного дома, когда пришлый, незнакомый человек спросил, как пройти к воинскому отряду. Те размещались в некоторых селах губернии в период

коллективизации для демонстрации советской силы. Дед Иван, не задумываясь, махнул рукой, показав верное направление.

Пришлось опять вспомнить тюремный быт. Несколько дней он провёл в волостной кутузке. Теперь откупились гусями. Борзые щенки в ту голодную пору были неактуальны. Новая власть ещё не обрела дворянских привычек, но кушать желала в срок и вкусно.

Спасительное решение заняться гусями пришло неожиданно. Как-то, ещё в годы первой мировой войны, когда у них родилась седьмая дочь при одном сыне, он предложил эту затею жене, с девятнадцати лет делившей с ним стол и кров.

– Девочка-то пруд пруди, – с некоторой долей укоризны заметил он Катерине Егорьевне. – Приданое нужно им готовить. Не пора ли завести гусей по примеру твоего брата Ивана? Тут тебе и мясо, и пух для перин и приданого, и перо, и крыло для смазывания пирогов.

Насчёт крыльев он отчасти шутил. Хотя действительно, горячее топленое масло на противнях перед раскладкой на них теста ровняли крепким гусиным крылом. Крупным, серо-стального цвета, похожим на богатый китайский веер. Вытащенные из русской печи готовые пироги и хлеб опрыскивали холодной водой и накрывали чистым белым полотенцем, чтобы корка не была слишком жёсткой. После того, как пироги «отпыхли», по ним вновь проходило гусиное крыло с маслом.

О шурине его Иване Егорьевиче, по примеру которого дед завёл гусей, предание сохранило такую историю. В годы НЭПа сельская кооперация, кроме продовольствия, торговала на Нижегородской ярмарке всяким разным кустарным товаром: бочками, ящиками, лаптями, конскими сбруями. Всем тем, что могли делать крестьянские руки. Для этой цели назначались по скользящему графику члены кооперации. Торгует шурин деда и тоскует от непривычной и нелюбимой работы, связывающей по рукам и ногам. Время кажется потерянным. Мало кто из русских крестьян любил заниматься этим «позорным» делом.

Как-то подходят к нему солидные, хорошо одетые мужики, судя по разговору, городские, и тихо спрашивают, наклонившись:

– Вы Иван Егорьевич Родионов?

– Да, – удивлённо согласился он.

– Мы знаем, что у вас есть замечательный бойцовский гусь. Продайте его нам.

– Не продаётся он, – решительно отверг предложение Иван Егорьевич.

– Подумайте, – кратко сказали странные покупатели, – вот вам конвертик.

И кладут на прилавок пухлый свёрток. Замер от неожиданности обескураженный кооператор, не найдя, что ещё сказать и как задержать посетителей. Когда же через минуту заглянул в конверт, то бросился их догонять с согласием: так велика была сумма, в которую оценили его гуся. Гусиные бои – особая статья в Нижегородской губернии.

* * *

Лет четырёх от роду я увидел порывистого, несмотря на семидесятилетний возраст, заросшего густыми чёрными волосами деда, с интересом рассматривающего меня. Доброту и ласку в глазах, надёжно спрятанных под низко надвинутыми бровями, только ли мне было сложно разглядеть. Пронзительно светлые (не цыганские, а в русскую мать) глаза, мохнатые чёрные брови, впалые щёки, густая, одичалая на вид и седая окладистая борода придавали ему сказочную страховидность. Я испугался, заплакал, спрятался за маму.

Дед вытащил из кармана пригоршню тыквенных семечек, которые он называл тебешными, и насыпал их на венский стул, стоявший под чёрной тарелкой радио. Сам же, огромный в старомодном коричневом кафтане и широких портах, опустился на колени перед стулом и принялся их чистить.

– Давай сюда Серёгу, – сказал он маме тугим басом.

С остатками слёз на глазах я, легонько подталкиваемый мамой в спину, робко подошёл к стулу и близко-близко увидел лучащиеся лаской, открытые, смеющиеся глаза. Они смотрели прямо на меня. Я опять спрятался за мамин подол, но ненадолго. Почти тут же я выглянул: интересно, как такие добрые глаза могут быть у страшного дедушки. Взгляд его был опущен на семечки. Он опять взглянул на меня, я попятился, но уткнулся спиной в мамины ноги.

– Накоть, – сказал дедушка и протянул мне ладонь с очищенными семечками.

Я замер в нерешительности, но мамина нога чуть подтолкнула меня, и я протянул раскрытую вверх ладонь. Получив порцию семечек, стал по одной отправлять их в рот.

– Не так, – поправил меня дед, и показал, улыбаясь, как можно разом всю пригоршню опрокинуть.

– Открывай рот, – приказал он мне.

Я по галочки открывал рот, в который время от времени сыпались очищенные вкусные семечки. Таких вкусных семечек я ещё не пробовал.

Потом, осмелев, я позволил маме отойти в сторону. Его жёсткие и густые волосы напоминали шерсть породистой овцы. Вьющиеся пряди неровно спускались на крутой и высокий лоб с тремя продольными морщинами. Очень смешной казалась его причёска «под горшок». Словно на голову надели большой чёрный чугунок. Что такое чугуны – так называла их мама, – я уже знал. С ними она ловко управлялась ухватом, когда топила печь и готовила в них еду.

Голова была чёрной, а борода белой – удивительно. В неё, не стриженную с юношества и окладистую, уже поседевшую и кудрявившуюся мелкими белыми завитушками, хотелось влезть руками и потрошить её. Что я и сделал.

– Мама, – спрашивал я, – а где у дедушки губы?

Мама и дед смеялись, а я с недоумением оглядывался, будто смех касался не меня, а кого-то другого, сидящего за мной. Спрашивать напрямую у дедушки, где у него рот, я почему-то не решался. Неловко было. Мама и папа с рождения внушали, чтобы мы без нужды не тормозили взрослых, не отвлекали их от важных дел своими вопросами.

– Дедушка приехал из деревни, – ещё раз пояснила мама.

И в голове моей замелькали образы сказок. Поплыл перед глазами густой лес с поваленными замшелыми деревьями, их мрачная суровость, баба Яга и Иван-царевич. Так я представлял неизвестную мне деревню.

Но дед, стоящий передо мной на коленях, угощающий меня вкусными семечками, перестал быть страшным и непонятным. Он уравнился со мной ростом и занятием.

Где-то в это время в Италии доживала свой век многоопытная восьмидесятилетняя воспитательница Мария Монтессори, создавшая либеральную систему воспитания малышей. Одним из советов был такой: воспитатели во время занятий должны стоять перед малышами на коленях. Быть с ними на одном уровне, хотя бы физически.

Знаю точно, что дед Иван никогда не был в Италии. Он вообще не выезжал за пределы Нижегородской области, но вот поди ж ты... Дед Иван растил рожь, покорял непослушных животных и воспитывал детей так, как подсказывала русская крестьянская культура. Что важнее? Восток или Запад? Большой и большой вопрос для России.

Всем землянам хочется осознавать, что они и их предки жили не зря. Я – не исключение. Не только в том, чтобы рожать детей и оставить потомство, но и достойно выразить себя. Русское крестьянство было опорой России, и потому из многих смут она восставала, словно феникс из пепла. С годами слой крестьянства так сильно истончился, что душу гложут опасения: на кого опираться стране?

Сон

Иногда ночью я просыпаюсь от собственного крика. До меня, словно эхо, доносятся лишь последние аккорды моего вопля. Ни сила голоса, ни долгота ора мне неизвестны. Сначала я слышу успокаивающий голос жены и чувствую тяжесть её тела. Значит, кроме всего прочего, я дёргаюсь: машу руками, дрыгаю ногами.

Успокоив меня, жена засыпает, а я бессонно гляжу в светлый прямоугольник балконной двери, выходящей на противоположную сторону дома, и вспоминаю, что же меня так взбудоражило. Я вспоминаю сон, как взрывается балконная дверь от яркого света, и в его ореоле в комнату врывается громадный светящийся стекольными осколками мужик. Он несётся, точнее, летит на кухню, где хозяйничает у плиты жена. Я бросаюсь поперёк, пытаюсь впечатать его в стену, как хоккеист, но скорость его велика, и он проносится мимо. Вот тогда-то и раздаётся мой предупреждающий об опасности крик: «Таня-я-я!»

Есть принятое всеми мнение, что кричат по ночам люди, чья жизнь полна сложностей и испытаний, каких-то неисполненных мечтаний, а то и укоров совести. И ещё я где-то читал (информация вокруг роится, словно рой сердитых пчёл), что крик во сне – это признак больного сердца. Мне эти приметы не нужны, я и без них знаю, что оно на пределе. Вот и сейчас я слышу его усталый стук слева, под рёбрами.

Во дворе светит фонарь, потому-то окна и балконная дверь так хорошо выделяются во тьме квартиры. Там, за световым пятном, что остаётся от фонаря, теснятся сотни домов, спит огромный город, где я родился и начинаю жить восьмой десяток. Нет, нет, мне только чудится, особенно в глухой и непроглядной ночи, что я есть центр Вселенной, как некогда Земля представлялась нашим предкам.

Кажется, сон надолго убежал от меня. За окнами хмурая, тёплая декабрьская ночь, совсем несхожая с зимней. Скорее, осень. Хочется скрипучего снега, морозца, жара от истопленной русской печи. Хочется представить себя мальчишкой, прижавшим стылые, негнущиеся после прогулки от мороза пальцы к широкой белёной кладке, излучающей доброе тепло. Представить всю ту скромнейшую обстановку русской послевоенной жизни с керосинками, с очередями за этим самым керосином, с криками: «Ножи, топоры точить! Кому точить, кому лудить?» Жизнь без телевизоров, телефонов, айфонов, планшетов, но с патефонами и графитовыми пластинками. Ту жизнь, многие слова из которой теперь нужно обозначать сносками и разъяснениями. Жестянщик, точильщик, лудильщик, шорник, ломовой.

Зёрна памяти

1

Первые годы – это время непрерывного и неразличимого в оттенках беспамятства. Оно подобно хорошо разопревшей зерновой каше, оставленной на всю ночь в русской протопленной печи. Сплошная, единая и однообразная масса без малейшей твёрдой крупинки. Минуты, часы, дни, месяцы, годы уварились и спрессовались в конгломерат почти животного существования первых трёх лет.

Как-то один из модных учёных заявил с апломбом, что чем раньше юный человек осознает и выделит себя из сонма беспамятных дней, тем выше организована его нервная система, тем больше толка из него выйдет. Ну и, конечно, тут же поставил себя в пример. Якобы некоторые события он помнит с двухлетнего возраста. Сказанное им – от лукавого.

Что может остаться в памяти двух-трёхлетнего ребенка и сохраниться на всю жизнь? То, что потрясло до глубины детскую душу. Суровое нервное или физическое потрясение, а может быть, избиение, которое всегда несправедливо, потому что его совершает взрослый человек. Мгновенный испуг и боль от падения в воду или на бетонную плиту, или наказание розгами, как в случае с Алёшей Пешковым. Ужасные, леденящие кровь крики во время ссор родителей или близких, ненавидящих друг друга до спазмов в горле, процесс развода, когда ребёнка «раздирают» на части разбегающиеся родители. Даже смерть отца или матери, во время которых тихо и благоговейно плачут, а взрослые ходят испуганно и бочком, не вызывает такого эффекта запоминания, как физические или нервные срывы.

Мне, к счастью, не пришлось познать этих «ускоряющих» развитие каталитических эпизодов. У меня не было «битого» детства. Да, память от жизни в атмосфере ненависти и страха, от избиений у ребёнка становится сильной, долговременной, но и злой. Такая злая память на всю жизнь. Но как прожить без любви, как не увеличить в геометрической прогрессии количество детей, не умеющих любить и быть любимыми?

У меня достаточно нашлось времени, чтобы подробно, не торопясь, и спокойно «изучить» щели и трещинки в дощатом крашеном полу, по которому я ползал к осени следующего года. Пуская слюни в натужных попытках встать на ноги, я хватался за ножки венских стульев, за дубовое кресло деда.

Это уникальное кресло – предмет особой семейной гордости, своеобразная визитная карточка русского крестьянского уклада и культуры. Спинка – дуга конной грузовой упряжи, на которой по окружности вились долблённые буквы, слагающиеся в народную мудрость: «Тише едешь – дальше будешь». Арочные высокие ножки – ещё четыре гигантские дуги, связанные вверху вожжами – ивовыми прутьями. Стилизованный хомут служил сиделищем, подлокотники – резные подковы, покоящиеся на дугах меньшего диаметра.

Много на кухне для ребёнка всякой опасности. Тут и ухваты для чугунов, тут и ведра с водой на широкой скамье, прислонённой к печи, тут лесенка-приступок для подъёма на полати и печь, тут и медный ведёрный самовар на полу. Но Бог миловал, помогал обойти эти опасности. В одном углу кухни горка – своеобразный крестьянский буфет, почерневший от нефтяного лака и долгой службы. В нём различная повседневная посуда: миски, фаянсовые тарелки, стаканы в мельхиоровых подстаканниках, сахарница с щипцами для колки комового сахара.

В красном углу – божница с иконами. Лики Спасителя и святых угодников темны и непроглядны от нескольких слоёв олифы, накладываемой для обновления икон. Медные оклады блестят от света лампадки, зажигаемой только в праздничные дни. Повзрослев, я драил самовар и всю медную церковную утварь невесомой розовой пылью, растирая друг о друга два обломка красного кирпича.

Гостиный стол из дуба огромен и высок, как неприступная средневековая крепость. Толстые, точенные на токарном станке ножки в стиле ампира соединялись у пола диагональной крестовиной, опирающейся в центре на невысокую, тоже точёную и тяжёлую подставку. На крестовине удобно сидеть, спрятавшись от взрослых.

Фарфоровые статуэтки балерин, спортсменов, пасторальных пастушек в коротких платьицах и озорным взглядом стояли на буфете. До них не дотянуться, как и до слоников из селенита, бредущих в неведомую даль по белой салфетке на диванной полочке. Навстречу им по соседней полочке идут похожие, словно капли воды, слоновьи конкуренты или друзья.

Как утерпеть и не схватить их, когда с тобой играют на диване, обтянутом дерматином? Безусловно, моя бездумная рука с жадностью тянулась к ним, таким загадочно-красивым и незнакомым, как всё, что открывалось быстрому нетерпеливому взгляду. И вот вождельные фигурки в слабых, неловких пальцах, и через три-четыре секунды вылетают из них и мягко падают на пружинную гладь.

– Ах ты маленький негодник!

Доверчивые брат и сестра будто слепы и не понимают, что «негоднику» вовсе не нужны эти блёстки. Ему лишь хочется двигаться, тянуться к первой попавшейся на глаза вещи, видеть её полёт и слышать шум от падения на пол. Безудержная, интуитивная мощь вселенского движения, равно наполняющая всех и всякого – от маленького мальчика до гигантских планет.

Славка, самый старший брат, 15 лет, на руках которого я сижу, в воспитательном азарте легонько бьёт меня по рукам и говорит привычные слова усталым голосом:

– Серёга, нельзя!

Я не понимаю и тянусь с гримасой недовольства и нетерпения.

– Да, что же это за наказание такое... Машка, держи Серёгу, я устал.

Брат в притворной усталости валится на диван, который, сотрясаясь, чуть не сбрасывает с себя качнувшихся слоников. За ним на диван плюхается сестра Машка, что на два года моложе него, и начинают они со мной обучающие упражнения, пронизанные озорством.

– Ах ты маленький гадёныш, озорник и несмышлёныш, – сладеньким голоском поют они и ласково гладят меня по голове.

Мне приятно, я улыбаюсь.

– Ах ты, умница, разумница, – и сердито ударяют по моим рукам.

Резкий голос и удар вызывают слёзы.

– Опять у двух няnek дитя без глазу? – устало спрашивает выходящая из кухни мама, за подол которой держится ещё один мой брат, Валерка, которому уже четыре года...

Моей энергии завидуют старшие, я прыгаю на двух ногах, не зная устали, словно звонкий мячик. «Попрыгунчик», – так зовут меня родители и соседи с острого языка одной из них, Марьи Григорьевны. Первая из множества других жизненных характеристик.

Однажды, я, как всегда, прыгал на пружинном диване между братом и сестрой. Они следили за мной вполглаза, надеясь один на другого. И я неведомым и непостижимым образом выскользнул из страховочных, потерявших внимание рук, и полетел вниз, приземлившись на голову. Машка тут же, словно обваренная кипятком, хватается за меня, а я, разинув рот, лишь синел, но не плакал.

– О-о-о, – взвыли Славка и Машка и принялись тормошить меня, чтобы вывести из ступора, – о-о-о.

Наконец я взревел благим матом, и у няnek немного отлегло от сердца. Мама дома не было, и ей они, конечно, ничего не сказали, но с неделю внимательно и озабоченно поглядывали на меня, пытаясь найти какое-нибудь отклонение.

– Что-то нянки мои притихли, наклусили чего-нибудь? – спрашивает внимательная мать, забирая меня из их рук.

– Нет, нет, ничего, – испуганно отшатывались в сторону брат с сестрой, краснея, как маков цвет.

– Врёте небось, – с пытливой уверенностью в голосе говорила она, но не ругала их, не допытывалась с пристрастием.

Мама, симпатичная брюнетка с вьющимися смоляными волосами, туго затянутыми сзади в плотный пучок, отворачивается от старших детей. Надо лбом волосы образуют пару ниспадающих арок, которые непременно хочется потрогать, а то и схватить и подёргать. Мама нежно смотрит на меня, пиявкой сосущего сладкое молоко. Взгляд её теплеет, и она устало машет озорникам:

– Идите уж, – и глаза её покрывает поволока.

В сладкой дрёме закрываются глаза и у меня.

2

Вот уже мною сделаны первые шаги. В полтора года я самостоятельно выхожу во двор. Что может быть прекраснее, твёрже и угловатее пяти ступенек в сенях, которые ведут на вожделенную свободу, на воздух и простор? С них я не раз валился, как сноп, плакал, стонал, а мне при этом ласково и испуганно растирали ушибленное место. Какое нетерпение возрастало в моей груди, когда я, уже твёрдо научившийся ходить, стоял, качаясь, у края первой ступеньки, а потом смело, очень решительно, но слишком высоко поднимал ногу и делал шаг в пропасть, мною не осознаваемую. Нога обрывалась, не найдя опоры, но я счастливо повисал в воздухе: нянек у меня было достаточно.

Конечно, не моя память разгоняет сейчас плотный и непроницаемый туман тех далёких дней моего счастливого детства. В их творческой реконструкции мне помогают чёткие представления о расположении комнат в нашем старом доме, в котором я прожил двадцать лет, рассказы родителей, братьев и сестёр.

Проходит ещё некоторое время; количество его мне абсолютно неведомо, как неведомо и то, кто я и зачем я, и что со мною будет, как я уже могу сам спускаться по лестнице. Подниматься я научился раньше, подниматься всегда легче. Это первый детский вывод, и я его запомню так, как отложатся в памяти многие абсолютные (постоянные) истины. Постоянны мама, отец, братья и сёстры, свет в окне, солнце, его жар, холод снега, боль от падений на деревянной лестнице. В три-пять лет эти абсолюты начинают сдавать позиции: приходят понимания смены времени суток (день, сумерки, ночь), времён года, множества запахов – от приятных до зловонных. «Я» начинает смиряться с тем, что мама не всегда с тобой, она может уходить, а её приход сопряжён с радостью, с нежностью, с ощущением сбывшейся надежды.

Нечто важное и нужное постоянно откладывается в подсознании, но оно не используется тотчас, но точно потребует позже. Наверное, этот призрачный и неведомый опыт, накопленный в бессознательном состоянии, и есть та самая интуиция, непроизвольно спасающая нас в трудные, критические минуты жизни.

Почему-то мы, взрослые, не ценим свой внутренний голос, накопленный в ранние, бездумные годы, не понимаем его, а пытаемся, наполненные взрослого самомнения, его улучшить, объяснить, осмыслить, поставить под сомнение его правоту и точность, и... попадаем в просак. Бог всегда отворачивается от человека, не верящего в свой внутренний голос, в свою интуицию.

Сколько же времени прошло, чтобы от меня не убежала в панике кошка и не пряталась в конуру умная собака? Неведомо. Ведомо удивление, что ни она, кошка, ни собака не отвечают на мои вопросы. Всё вокруг много выше меня, но шея не болит, непрерывно крутятся, чтобы видеть всё самое интересное и важное, что не должно пройти мимо. Со мной всё в порядке, я здоров, чтобы хватать и ронять на пол различные предметы, попадающие под руку, хватать и ронять, и так до бесконечности, пока не приходит время спать. Во сне я летаю.

Эти сны – наверное, первое, что запомнилось между провалами памяти, сопровождающими детство. Когда растёшь, как травинка или дерево, то в сознании пустота. Именно так, «по-овощному», я и расту. В этом мне помогают «абсолюты» – братья и сёстры. Я не замечаю их развития и физического роста, они кажутся мне неизменными, а я – их частицей, которой не требуется осознания своего я как центра мира, центра бытия. Когда в редкие минуты просветления памяти ощутишь своё Я, то безликое существование отступает под напором разума, связывающего прошлое с настоящим.

Что может быть прекраснее этих снов-полётов! Для меня, живущего на склонах обрывистых окских круч и оврагов, они начинаются всегда одинаково. Я смело желаю шаг с крутого откоса, обрывающегося в пяти метрах от дома, но не падаю и не качусь по зелёному склону

своим любимым способом – лёжа на боку, а начинаю парить. Другая нога не задерживает движение в нерешительности, а делает, как ей положено при ходьбе или прыжке, толчок. Тело вертикально взмывает ввысь и гордо движется вперёд, время от времени отталкиваясь от невидимой упругой сетки. Второго шага достаточно, чтобы перешагнуть через съезд, а затем полететь над домами, как в сапогах-скороходах. Сердце замирает от божественного, не передаваемого словами ужаса, странным образом совмещённого с чувством превосходства и могущества. Как оно рождалось в ещё неизведанных лабиринтах детского мозга, неясно мне и до сих пор. Но чувство было так зримо и ощущаемо, будто я летал во сне только вчера.

3

Наконец мне стал доступен узкий двор, похожий на школьный пенал, стенки у которого – два забора. Один, высокий и глухой от соседей, другой, за которым сад, низкий и редкий, будто зубы у счастливого человека. За этим, вторым, цвели чудесные вишни и зеленели грядки с овощами и входящей в моду диковинной ягодой – викторией. Не скажу, что у нас были особенные сорта, в ту пору брали всё, что появлялось в продаже или выменивалось у других садоводов. Просто у мамы была «лёгкая» рука. Растения, ею посаженные, с благодарностью отзывались на её любовь, давшую им жизнь. Они ударно росли, радуя всех, и прежде всего маму. Помню её рассказ, как в их крестьянском саду не плодоносила одна из взрослых яблонь. Отец Иван, рассказывала она, взял бурав и просверлил в штамбе сквозное отверстие и вбил в него осиновый клин. «Напугал» яблоню, по её мнению, ибо она считала растения живыми существами, всё понимающими. Плохо плодоносящую вишню или яблоню она тоже «пугала». Мама брала топор и срезала им одну-две ветки, а потом говорила, замахнувшись топором:

– Вырублю целиком на следующий год, если не будешь родить.

И растение «понимало», и на следующий год обильно плодоносило. Было в этом умение нечто мистическое и генетическое. Скорее всего, от отца Ивана. Младшего брата мамы, моего дядю Мишу, земля тоже отмечала взаимностью. Без особых изысков и тщательной подготовки, о которой пишут сельскохозяйственные журналы, а именно стерильности материалов и инструмента, он так ловко прививал черенки на яблони и груши, что ни один из них не погибал и яро плодоносил. Мама и дядя не чувствовали за собой каких-то особых земледельческих талантов, они считали, что так каждый сможет, а когда их спрашивали о причинах успеха, они почему-то говорили о любви к земле.

Двор выложен красным кирпичом, поставленным на ребро. Нагретая солнцем, эта своеобразная брусчатка – очень удобное место для игр: тепло, сухо, чисто. По ней дробно цокали подковами мощные битюги, привозящие корм для нашей коровы. Эпизоды с приездом телег стали первыми зёрнами, выделившимися из густой каши детского забвения.

От лошадей шёл плотный и густой, надолго запоминающийся и кружащий голову запах пота. Перед воротами телега разворачивалась, и битюг, руководимый возчиком, подавал её, для удобства разгрузки и дальнейшего выезда из узкого двора, задом. Это был высший пилотаж взаимопонимания человека и очень старающегося животного. Видимо, от волнения и усердия битюга во дворе непременно начинала дымиться куча навоза.

Возчик извинялся за своего верного товарища, слегка оплошавшего. Мама охотно прощала:

– Прекрасное удобрение для огорода.

Особенно памятными были ломовые телеги с высокими наставленными бортами и узкими железными ободьями, стучавшими на кирпичах, как вставные челюсти соседки Марьи Григорьевны. Содержимое – а это был в большинстве случаев отработанный ячмень с пивного завода с красивым названием «барда» – подпрыгивало и чмокало в коробе так, словно внутри

находился неведомый зверь, похожий на Верлиоку. Он ежесекундно мог вырваться из душного плена.

Сказка про Верлиоку была в пору младенчества самой страшной из всех, рассказанных мамой. Даже в подростковом возрасте я так живо представлял липовую ногу, сделанную медведем взамен отрубленной и сваренной мужиком для еды, что у меня щемило сердце. «Скрыпи, скрыпи, липова нога», – подбадривал себя свирепый, рассерженный медведь, пробираясь к мужичьей избе, чтобы отомстить ему за нанесенное увечье. Мама в мельчайших подробностях рассказывала, как от ударов медведя подскакивал крючок на двери, но всякий раз удачно возвращался на место, как сжимались от страха мужик и его жадная жена, не желавшая отдавать медведю его ногу.

Я и брат теснились к маме, вновь и вновь переживая страдания медведя. Мне жалко медведя, я не на стороне охочих до чужого добра мужика с бабой. Я и сейчас испытываю невольное сострадание к несчастному и жалкому волку, которого сделали вечно гонимым посмешищем в мультфильме «Ну, погоди!». За что? Так ли должна быть устроена жизнь, чтобы кого-то представлять виновным во всех неудачах и грехах: и своих, и чужих?

И вот шумную барду-«верлиоку» везут в телеге. Когда привозили корма для коровы, находиться во дворе запрещалось. Вот он, первый отчётливо запомнившийся запрет. Мне три или четыре года, и я с опаской подглядывал в щёлку не полностью прикрытой двери в сени за возчиком в длиннополом брезентовом немнущемся плаще-балахоне. И стук тележных колес, как стук обиженного медведя в дверь, и страшный «водитель» потной гнедой кобылы, и лёгкая суета, всегда возникающая при этом, несказанно волновали меня. Потому, верно, и запомнились.

Торчащий ломкими углами брезент многократно увеличивал фигуру возчика, лепил из него сказочного, таинственного великана. Первый, чужой человек с улицы, со стороны, впервые появившийся в моей только что начавшей гореть сознанием жизни. Грозный и грузный ломовик, разгрузив телегу, обычно просил пить. Мама достаивала меня «чести» принести стакан с водой...

С замиранием сердца и неясной, но уже вполне ощутимой тревогой подавал я стакан с холодной ключевой водой и несмело заглядывал под капюшон балахона, боясь увидеть нечто ужасное. Верлиоку, например. Как же удлинялось моё лицо при виде добрых смеющихся глаз с лучиками морщинок вокруг них. Тяжёлая, жёсткая, мозолистая рука трепала мои белокурые длинные волосы, цепляющиеся за мозоли. Грубый голос, окая, рокотал раскатисто: «Покорнейше благодарю, сынок!».

Корма доставлялись регулярно и при любой погоде. Но всегда перед глазами солнечный тёплый день, ленивое шевеление листьев плакучей соседской берёзы, свесившей в наш двор свои бессильные ветви с нежными серёжками. Детская душа не принимала пасмурные или дождливые дни. В памяти только солнце, синее небо, нежное тепло, даже теням не находилось места.

– Мама, почему у дяди такой большой плащ? – спрашивал я после отъезда телеги.

– Балахон для него – как крыша над головой. Вдруг дождь или снег, а груз везти надо.

– Он и в дождь ходит? – удивлялся я, видя, как все торопливо забегают в дом из огорода, когда разыгрывалась непогода.

– Приходится, – улыбалась мама моей наивности.

– Трудно ему. А вдруг дождь промочит, и он простудится и заболит?

– Всем трудно, сынок.

И после отъезда телеги мне хотелось стать возчиком, упрямо шагающим сквозь дождь и бурю, чтобы довести важный груз. Кем только я не хотел стать. Например, садовником, выращивающим цветы. Это желание возникало после игры в цветы.

«Я садовником родился, не на шутку рассердился: все цветы мне надоели, кроме...» Водящий («садовник») делал паузу, выискивая задумавшегося или зазевавшегося игрока, чтобы назвать его имя – название цветка, под которым тот принимал участие в игре. Если названный «цветок» мешкал с ответом, то выбывал из состава участников.

– Мама, – спрашивал я с некоторой обидой, – почему у нас так мало цветов в саду? Их столько на свете, – и я вспоминал названия, которые мы кричали в игре «садовник».

У нас же в саду-огороде были лишь мальвы, высокие растения с плотным жилисто-древовидным стволом, похожим на стебель подсолнечника, но тоньше, с крупными бархатисто-пушистыми соцветиями. Меня недостаток цветов обижал.

– Хорошо, хоть такие есть, – отвечала мама с достоинством. Она хорошо знала скудные свои финансовые возможности, время ухода за ними и недостаток места в тесном саду-огороде. И никогда при этом не воспаляла в нас чувства ущербности при виде чьих-то богатств и новых, красивых вещей, которых не было у нас. Она приучала нас ценить своё, добытое старательным трудом.

Я отходил от неё удовлетворенный ответом: у нас есть мальвы, красивые, стройные, усыпанные десятками махровых цветков с сахаристой бархатностью. Зачем много? Надо любить то, что есть и то, что растёт.

4

Вишнёвый сад. Его буйное цветение схоже с неким помешательством расточительной природы, обильно покрывшей каждую тоненькую веточку вишни белыми пучками нежной ваты. Первые фотографии доносят до меня образ белокурого мальчишки на руках улыбающейся мамы. Рядом сестра и брат. Цветущие ветви спускаются нам на плечи. Уходящее за горизонт солнце. Розовый закат. Тихий вечер 16 мая 1948 года.

Эта дата стоит и на других фотографиях. У меня озабоченное, напряжённое лицо, согнутая в локте правая рука вцепилась в кушак хлопчатобумажных шаровар. На моём левом плече рука стоящего рядом четырёхлетнего брата. Нас водрузили на деревянный ящик, как на постамент, за которым всё та же белая кипень вишен.

Одеты мы по «моде» того полуголодного бедного времени. Шаровары у нас до колен, и потому мы в чулках, которые крепятся резинками к поясу. Приспособление, хорошо известное женщинам, было для детей в ту пору обязательным предметом, доставляющим несказанные муки при застёжке резинок.

Сейчас детские педагоги и воспитатели прилагают всевозможные ухищрения, разрабатывая мудрые методики, чтобы развить у подопечных мелкую моторику пальцев. Для нас, детей послевоенного «рая», те старые застёжки на чулках и поясах стали очень прозаичным и верным способом развития требуемой моторики.

Мы с братом справедливо считали такую одежду девчоночьей и решительно с пятилетнего возраста отказывались от чулок, слёзно прося маму сшить длинные шаровары до щиколоток. Она их ловко перелицовывала из одежды старших братьев и сестёр.

Чем-чем, а одеждой я был обеспечен капитально: всё, из чего выросли братья, доставалось мне. Недаром возникло это фольклорное прозвище «поскрёбыш». «По амбарам помети, по сусекам поскреби». Вот последний ребёнок в многодетной семье и «скребёт» за всеми. Такова уж его планида.

Кажется, что от этих посеревших и потерявших былую контрастность фотоснимков тянет терпким запахом раздавленных спелых вишен.

С Валеркой мы любили прятать, а точнее, «забывать» при сборе урожая самые крупные ягоды, наливавшие сок в недоступных местах. К августу они подсыхали, съёживались, как

лица старых людей, и становились ещё слаще и неповторимее ароматом, словно мудрые слова научных временем наставников.

День, когда мы собирали «свой» урожай, приносил сладчайшую радость запоминания, как вкус косточек, подолгу перекачиваемых из одной части рта в другую. Деликатесом была для нас и тёмно-коричневая смола, крупными натёками скапливающаяся в местах повреждений коры. Это были самые потаённые места с низко опущенными ветками, куда взрослые обычно не заходили.

Дух соревнования и соперничества посетил наши души, наверно, со времён сбора вишнёвой смолы.

Я и Валерка хвалились друг перед другом количеством собранных кусочков. Качество их было разным. Молодая, свежая смола липла к рукам и зубам, такая ценилась низко. Ту, что покрывалась сверху блестящей корочкой и напоминала тёмно-янтарную бусинку, согреть во рту и разгрызть представлялось верхом блаженства.

Может быть, мы недоедали, что так отчаянно стремились наполнить чем-то ещё свой вечно голодный рот? Может быть, в этом были виноваты странные на первый взгляд потребности растущего организма. Иногда руки интуитивно тянулись даже к печному остывшему углю или к мелу. И то и другое мама использовала для оттяжки воды из сметаны и творога при изготовлении пасхи. Трудное и отчаянное время, но разве было оно несчастливим? Мы с братом жили в обособленном детском мире, представляя каждый из себя некую шестерёнку единого часового механизма. Эти шестерёнки по воле механика, создавшего их, цеплялись друг за друга, приводя в движение весь сложный механизм развития личности.

Природой предначертано всему живому вечное движение. Особенно человеку в детстве. Перевернуться на живот, научиться сидеть, ползать, ходить, говорить – это не только суть развития маленького человечка, но и постоянное взятие высот, пока физических. На первый взгляд кажется, что всё это лишь этапы естественного развития живого существа. И каждый период незаменим и важен. Стоит лишь нарушить сроки прихода следующего этапа развития, как возникают аномалии, негативно накладывающие отпечаток на характер, на объём умений, и, прежде всего, восприятия свободы.

Только детство способно развить чувство свободы, притом на всю жизнь. Узкий прежде внешний мир, ограниченный люлькой или детской кроваткой, по истечении нескольких месяцев вдруг начинает стремительно расширяться, словно космические галактики. Комната, дом, двор, улица, родной город, другие места и с ними новые, разящие сознание впечатления. И тут не должно быть сбоя или искусственного замедления. Ограничилось развитие маленького человека одной комнатой – значит, он не научится быстро бегать. Выйдет с опозданием на улицу – будет отставать от сверстников в беге и в общении. Это отставание обусловит страх перед соревновательностью, перед другими ребятами, а за страхом придёт ощущение несвободы, которое он пронесёт всю свою жизнь. Оно так угнездится в его сознании, что ему постоянно будет казаться, что его притесняют, что он жертва.

Чем шире у малыша объём навыков (бег, прыжки, плавание, обращение с мячом, труд, чтение, дружба, ощущение прекрасного, интерес к новому), тем свободнее он будет себя чувствовать. Каждый выстраданный новый навык – дополнительная степень свободы. При наличии широкого круга умений для дурных качеств – зависти, жадности, уныния, лицемерия, лжи – не достанет места в душе. Их отсутствие есть признаки внутренней, подлинной свободы личности.

Да, можно ребёнка приучить к ограниченности пространства, запретить прогулки по городу, усадить насильно за стол, запретить труд, чтобы не уколол пальчик, как спящая царевна. Это сковывание проявится наряду с чувством нехватки свободы равнодушием, а то и ненавистью ко всему окружающему. Если до восемнадцати лет ребёнок ощущает себя центром бытия, что вокруг него всё (кровать, квартира, дом, рощи и реки) и все (мама, отец, окружаю-

щие тётки и дяди) вращаются, и не могут дня прожить без него, то он типичный эгоистичный недоросль. И все те, кто впервые укажет ему, что он не самый главный, что он не ось, вокруг которой происходит вращение, а такой же элемент, соподчинённый на равных с другими, ему подобными, то станут недорослю врагом номер один. Потом появятся другие враги – люди, раскрывшие ему глаза на мир человеческих отношений. Недоросль никого не будет любить по причине ленивого и злобного сердца, и его тоже никто не полюбит.

Способен ли он самостоятельно думать и обоснованно возражать? Или всё отведённое ему Богом для существования время будет состоять из молчаливого и послушного кивания, безропотного согласия с «генеральной» линией, выработанной кем-то для него?

Большая семья, частный дом с его вечными хозяйскими заботами – это ли не лучшее место для воспитания?!

* * *

Лет с пяти отец научил меня ловко выстрегивать из толстой и длинной лучины мечи. Полный профиль. С эфесом, удобным для маленькой руки и предохраняющим её от скользящих ударов, и длинным прямым клинком с обоюдоострыми краями.

С двоюродным племянником Стасиком, старше меня по возрасту на неделю, мы сражались ими в те дни, когда его бабка, моя тётка, приходила к нам в гости. Мечи несказанно нравились Стасику, и он непременно хотел утащить один из них, особо приглянувшийся, пряча его в рукав пальто при удобном случае. При сборах домой пропажа выявлялась, бабка его, смущаясь, возвращала меч, журуя при этом внука. Стасик валился на пол и, стуча ногами по полу, требовал возврата:

– Хочу-у-у меч! Хочу-у-у-у!

Неловко-напряжённое молчание взрослых подстёгивало капризного мальчишку. Мои родители говорили мне: «Уступи!» Я не возражал, великодушно отвечая:

– Ещё выстрегую. Бери.

Все радовались благополучному разрешению конфликта. Если случалось быть при этом дяде Ване, то он, легонько стукнув меня по плечу рукой, говорил одобрительно: «Серый, Серый, а плут невероятный!», проглатывая для рифмы последнюю букву «н».

Геройский брат

Глухой осенней ночью 1943 года в наш дом залезли воры. Вторые зимние рамы ещё не стояли в окнах. Воры во все времена – лучшие потребители передовых технологий. Банда домушников стеклорезом вырезала на кухне оконное стекло, смазав его предварительно мёдом, и бесшумно вынула. Девка-соучастница стояла на стрёме, трое влезли в окно и разбрелись по комнатам.

Славке – ему в ту пору исполнилось одиннадцать лет – захотелось в туалет. Проснувшись, он не сразу вскочил, как обычно, а какой-то неведомой и необъяснимой силой (может, это и есть интуиция) был остановлен. До его чуткого уха донёсся еле слышный шорох. Чуть погодя, он заметил не крупную фигуру, серой тенью проскользнувшую мимо него, лежащего на сундуке. Тогда он тихо спустился на пол и на цыпочках смело пошёл за неизвестным небольшого роста. Тот вошёл в гостиную, огляделся и направился к буфету, где обычно хранились ценности. Звериным чутьём поняв, что вор может боковым зрением заметить его, Славка прыгнул ему на плечи и сбил с ног.

– Тише, тише, это я, Шило, – зло зашипел вор, подумав, что это сообщник.

– Папа, мама, – заорал Славка во всю мочь своих лёгких, – воры!!! Ловите их!

Началась паника, все повскакали с постелей. Воры, воспользовавшись сумятицей, выскочили из дома и бросились вниз, на Похвалинский съезд. Но этот налёт обошёлся им боком: они наткнулись на милицейский патруль. Всех не поймали, но девку схватили, а та выдала остальных. И вот ведь совпадение, которое бывает не только в кино, как говорила мама. Один из патрульных приходился ей двоюродным братом. Он-то и рассказал маме, что бандиты планировали в случае их обнаружения резать по очереди всех проснувшихся.

Славка стал героем в глазах большой родни, а сам заболел с тех пор желанием борьбы с двуногой нечистью, по его выражению. Он поступил в пограничное училище, служил после его окончания на Курилах, переучился на чекиста, работал многие годы в ГДР, заканчивал чекистскую службу в центральном управлении. Его детская мечта сбылась в полной мере.

Поход

Перед глазами вновь солнечный воскресный летний день, когда мы собрались вчетвером – папа, мама, Валерка и я – на Бугровское кладбище. Требовалось что-то устроить на могиле деда с бабушкой. Впереди шли родители, а мы с Валеркой плелись по Малой Покровской сзади, о чём-то, как всегда, споря. Вдруг брат говорит:

– Смотри, сейчас слева пойдёт трамвай.

И действительно, трамвай пересёк Малую Покровку слева направо.

– Ух ты, – восхитился я, заинтригованный новыми способностями Валерки, – как ты угадал?

В детстве брат проявлял недюжинные способности проворства и сообразительности. С шести лет он бегал в хлебный магазин на «Решётку» и легко считал сдачу. Я же казался увальнем и тугодумом, о котором мама изредка говорила, что быть мне или очень умным, или круглым дураком.

– Слишком голова тяжелая у Серёжи, – добавляла она, – как ни упадёт, то обязательно стукнется головой.

Говорила за глаза, но я об этом почему-то знал. Верно, Валерка подсуетился по доведению до меня этой информации...

– Не скажу, секрет, – заважничал Валерка, дёрнув коротко остриженной головой, но в глазах – я это видел – мелькали хитрые искорки.

«Ладно, – подумал я, – совпадение».

Но метров через сто брат опять сказал, что сейчас пройдёт трамвай, но теперь уже справа налево. И вот чудо – прошёл. Тут уж я забеспокоился и очень разозлился.

– К-а-к? Откуда ты знаешь? – заикаясь от злости, прошептал я.

– Я – оракул и волшебник. Учись, мелочь пузатая, пока я жив! – крикнул брат, а сам отскочил в сторону, потому что я, хоть, будучи младше на три года, мог со злости больно ударить.

Я и в самом деле почувствовал себя круглым дураком, хотя и не знал, кто такой «оракул», но... «волшебник». Это слишком. Как же он, засранец, отгадывает, когда идти трамваю? – спрашивал я себя и не находил ответа. Выйдя на перекрёсток, я огляделся, пытаюсь найти отгадку, но где там... Единственное, что бросилось в глаза – это вновь установленные светофоры, которые только-только стали появляться в городе. Тут же, на перекрёстке, находилась школа, во втором классе которой учился брат. Понятно, что Валерка знает этот перекрёсток как свои пять пальцев, но как его знание связано с трамваями – вот в чём загадка.

По Ильинке громыхали полупустые деревянные трамваи с незакрытыми дверями, изредка фыркали чёрные и юркие «Эмки» и величаво проплывали трёхосные американские «Студебекеры». Но я ничего не замечал вокруг, озабоченный загадкой, преподнесённой мне братом. Чертовщина какая-то.

Будь Валерка чуть великодушнее, и поясни мне истинную причину, то я зауважал бы его за находчивость. Но он ломался, словно тульский пряник, вызывая во мне досаду и раздражение. Состязательность, которой мы переполнялись, была хороша до поры до времени. Излишки в любом деле, даже в хорошем, несут в себе отчуждение и даже вражду. Слава Богу, что генетически я оказался свободным от зависти, а не то...

Решил я Валеркину задачку лишь спустя три года, когда сам стал учиться в этой школе. Ларчик открывался просто и с изрядной долей везения. Трамваи ожидали, когда для них загорится зелёный свет светофора, а для нас – красный, видимый издали. Валерка брякнул наобум, увидев красный свет, что пойдёт трамвай. Конечно, интервал движения трамваев составлял не тридцать секунд – период чередования света у светофоров в ту пору, а гораздо больше, но брату повезло. Его величество случай! Он сумел поразить моё воображение.

Этот день стал богат на потрясения.

Наконец показалась красная кирпичная кладбищенская стена. Прямая и длинная, как стрела, она казалась монолитной и монотонной, словно «Болеро» Равеля. И в то же время зыбкой, купающейся в призрачном, знойном мареве, исходящем от перегретого булыжника, выложенного вдоль неё. И не тяготы пешего перехода, не физическое изнурение запомнились более всего, а одинокая старуха в чёрном, идущая вдоль стены, почти касаясь плечом ярко-красной кладки. Чёрный глухой редингот до пят, чёрная маленькая шляпка с чёрной вуалью, закрывающей лицо, чёрная сумочка на фоне рябиновой стены с белыми, исключительно ровными прожилками известкового раствора, замешенного, как объясняла мама, на яичном желтке.

Я вцепился в мамину руку, забыв о всех испытаниях и мучениях.

– Мама, кто это? – в моих глазах бился, наверно, огонь страха.

– Скорбящая мать или бабушка, – просто ответила мама, – она не ведьма из сказки. Не бойся.

Сильных и сложных чувств должно быть немало в детстве, иначе инфантильность сожмёт душу до угрожающих своей малостью размеров. И когда в пятнадцать лет я посмотрел фильм «Девять дней одного года» с большим Гусевым (Баталовым), бредущим на фоне стены какого-то огромного белого здания, память услужливо высветила мне, как на экране, печальную старуху, устало передвигающую ноги вдоль кладбищенской красной стены, бесконечной стены, чтобы помянуть своих любимых и дорогих детей. Мне легко понять настойчивого, порой упрямого Гусева, и жутковатую на вид старуху, и безымянную стену, часто вырастающую перед моим сознанием в трудную минуту. Её порой надо прошибить своей волей, как лбом...

– Как это грустно, что матерям приходится хоронить своих детей, – добавила тогда мама.

Слава Богу, ей не пришлось этого делать.

Обратной дороги будто и вовсе не было. Сила образа скорби, воплощённого в старухе у красной стены, победили усталость, жажду, злость от всезнайства брата. Всё негативное забылось. Остались образы неразделённого горя, тихой грусти и красной стены. Они не растворились в сумерках искрой вспыхнувшего, но ещё несовершенного сознания. Из-за того, видимо, что часто приходилось видеть этот кладбищенский кирпич, убитых горем людей. Когда родители, тётки и дядья старше тебя на сорок-пятьдесят лет, это не удивительно.

Всякий раз, когда я иду по кладбищу, неведомая сила заставляет меня скользить взглядом по лицам, фамилиям, именам, датам погребённых. Машинально отмечаешь интересные факты и образы, иногда даже считаешь, сколько лет жил некто, да ещё скажешь при этом: «Хорошо пожила старушка» или «Ого, силен старик!» Трудно определить необходимость этого действия. Тем самым ты вроде отдаёшь дань памяти совсем неизвестным людям, или представляешь, как будет выглядеть место твоего последнего упокоения, или пытаешься найти подтверждение красиво звучащему утверждению «ничто не проходит бесследно». Тогда-то и понимаешь, что кладбище – не место для человеческой души. На нём витают только факты, воссоздающие образы прошлого.

Если же упрёшься взглядом в кладбищенскую дорогу, чтобы не глядеть на бесчисленные имена, то странные чувства овладеют вдруг тобой, словно десятки, сотни глаз покойных с осуждением глядят на тебя. И снова скользишь взглядом по постаментам, по плитам, как бы пытаясь найти имя родного или знакомого человека. Их на кладбище становится всё больше, а вокруг меня меньше. Тех, с кем я часто ходил по знакомым улицам.

Мама

«Жаворонки» – так называется народный праздник в день весеннего равноденствия, на который пекут из теста фигурки жаворонков и закладывают в них монеты или памятные амулеты. Почему-то этот обычай называют языческим, как будто народ не заслужил своих традиций, кроме религиозных. Особая любовь простых людей к жаворонкам объясняется просто: именно эта птаха вьётся в синем бездонном небе, когда крестьянин пашет и сеет. Она своей звонкой песней скрашивает тяжкий труд земледельца, заставляет его, пусть на секунду, оторваться и посмотреть в небо, лишний раз обратиться к Богу. Знает ли мир других певцов, подобных жаворонку, что не сидят во время пения на веточке или крепкой жердочке, надёжно охватив её тоненькими цепкими лапками, а парят под куполом небес, творя песню пробуждающей к жизни земле? «Над полями, да над чистыми...».

– Чтобы злые духи не проникли в дом, на дверях перед этим праздником рисуют кресты, – сказала мама мне, выщемуся вокруг неё и, вероятно, мешающему ей.

Зачем она сказала мне об этом? Не знаю. Я понял её слова как приказ к действию.

Мел я без труда нашёл в потайном ящичке швейной машинки «Зингер». Изрисовать крестами двери, а они были высокими, было нетрудно, но хлопотно: пришлось таскать за собой табуретку. Но мне этого показалось мало.

Я оделся и вышел во двор. Взял палочку в сарае и стал царапать кресты на снегу во дворе, но узкий двор почти полностью убирался от снега, тогда я перешёл в сад. И замер. Чёрные, как уголь, крупные птицы с белым колечком у основания носа купались в глубоком снегу. Я знал, что это грачи: ведь в кухне висела репродукция с картины Саврасова «Грачи прилетели». Один из них, видимо, особенно «грязный», закрыв глаза, забивался в снег с головой, ничуть не боясь меня и моего внимания. Долго он купался, долго и я стоял, наблюдая за ним. Наконец он улетел, а я, забывая валенки снегом, рисовал кресты. Здесь работы было много. Я нацарапал их десятки, заполнив всё белое пространство.

Смотрел ли на меня с небес ангел? Одно точно – истовости моей можно было позавидовать: уж очень мне не хотелось, чтобы злые духи или люди – это неважно, – именно злые (это слово я уже хорошо знал) не прошли в родной дом.

Помнится, что день стоял неяркий, пасмурный. Переполняло ли меня ощущение причастности к чему-то великому и тайному, известному лишь моей душе, я не знаю. Помню, что я впервые почувствовал себя защитником мамы, отца и всех родных. Маленький мальчик, рисующий кресты на снегу под хмурым низким небом в заснеженном саду с высокими глухими заборами. Картина казалась дикой в своей неестественности, заброшенности и отрешённости от мира, что шумел вокруг меня. Мира, который украдёт у меня спустя годы детскую чистоту и светлую, пропитанную искренней верой наивность, сделает меня жёстче, суше, официальнее. Жизнь часто похожа на облака даже внешне. Плывёт над головой лёгкая тучка, похожая на женское красивое лицо. Ветерок мало-помалу размывает его прекрасные черты: нос утолщается, губы растягиваются, дева дурнеет, дурнеет, а потом и вовсе расплывается без следа...

Мама пребывала в вечных хозяйственных делах и заботах о нас, пятерых детях, о муже, о свёкре и свекрови. Она топила русскую печь и готовила еду, кормила скотину, доила корову, стирала руками постельное бельё, наши многочисленные штаны и подштанники, рубахи и майки. Мыла полы в доме, а перед праздниками и в сенях, и в чуланах. Перед Пасхой она мыла

крашенные маслом стены и потолки, перетирала всё, на что могла сесть пыль. Залезала рукой в самые удалённые углы, где паук мог сплести свою прочную и плохо заметную паутину. Мама полола огород: две грядки с луком, две грядки с огурцами и клубникой, одну – с чесноком и одну с морковью. Она следила за курами, чтобы те не клохтали, купала в бочке с водой непослушных, и вместе с клушкой выводила цыплят. Когда с нами жили старшие её дочери, они всячески помогали ей, но, оставшись без них, разбросанных по Союзу молодых специалистов, она тянула эту хозяйственную ношу одна-одинёшенька. Отец копал по весне огород, чистил хлев, разбрасывал навоз и подметал двор, носил с нами – Валеркой и мной – воду из водоразборной колонки.

Труд не старил нашу маму, только пальцы рук от многолетней дойки к старости скрутила подагра. К 26 годам у неё уже было трое детей, но она, по словам всех очевидцев, выглядела девчонкой. Мама со смехом рассказывала, как однажды ехала перед войной в трамвае, в том старом трамвае с деревянными сидениями, стоящими друг против друга. Как лицом к ней сел молодой мужик и долго смотрел на неё, изучая миловидное лицо с озорным от курносости носом, алые нетолстые губы, мягкий овал лица, обрамлённый чёрными как смоль волосами. Смотрел-смотрел, и стал вдруг сжимать её ноги коленями, с намёком заглядывая в глаза. «Не нахальничай!» – строго сказала мама. «Пойдём погуляем», – предложил парень. «Ты в своём уме? У меня трое детей!» Парень покраснел, тотчас встал и вышел из трамвая. Она могла защитить себя простыми словами, сказанными негромко и с предельной ясностью, доходящей до самого тупого.

Мама никогда не воспитывала нас общепринятым, нотационным способом. Никаких нравоучений я никогда не слышал от неё, – кажется, что она их не знала. То, что требовалось до нас донести, она демонстрировала показом или рассказом. Ненавязчиво, мягко и устало. Лишь после смерти её я узнал, откуда это раздумчиво-философское выражение маминых глаз. От больного сердца. На Гребешке к маме часто забегала участковый врач, чтобы послушать её сердце. Да, вот так: без вызова, без просьб, а просто по велению долга приходила врач. Какое-то редкое заболевание. После переезда на новое место к маме уже никто из врачей не ходил. Она не знала дорогу в поликлинику, и мы забыли, что у мамы больное сердце.

Часто она ссылалась на Святое Писание, но как мило она это делала! Схватишь, бывало, после сна что-нибудь из съестного, она заметит (как она всё успевала?) и скажет тихо, но не елейным голоском, словно набожная монахиня или слепая нищая, а уверенно, как умудрённый знаниями человек: «Нельзя греховными, не омытыми руками брать еду. Она – от Бога».

Кусок тут же застрянет в горле, и я, чтобы исправиться, стремглав бежал к рукомойнику и споласкивал руки водой, а потом умывался, вспоминая ещё одно наставление из Маминаго Писания: «Прежде, чем сморкаться, умой руки и лицо». Сморгнуться же хочется сразу.

Пустяковые на первый взгляд советы. Главная сила не в них, а в устах, их вымолвивших. Это ясно становится позже, гораздо позже. Все эти наставления, порой шуточные, каким-то неведомым способом запомнились на всю жизнь, дисциплинируя нас. Подчиняться, соблюдать их было необременительно и даже приятно. Всегда легко подчиняться человеку, любящему тебя, и всем тем, кто уважает подчинённого, поднадзорного, воспитываемого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.